

Воспоминанія. Іван Алексеевич Бунін buninivan.ru  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://buninivan.ru/> Приятного чтения!

Воспоминанія. Іван Алексеевич Бунін

Паріж 1950

#### АВТОБІОГРАФІЧЕСКІЯ ЗАМЕТКИ

Некоторые автобіографические заметки, касающиеся главным образом моей писательской жизни, были напечатаны мною лет пятнадцать тому назад в собраниі моих сочиненій, изданном в Берлине «Петрополисом».

Дополняю их некоторыми новыми. (Курсив всюду мой; делая выписки из стихов и прозы с новой орфографіей, я даю их по старой).

Моя писательская жизнь началась довольно странно. Она началась, должно быть, в тот безконечно давній день в нашей деревенской усадьбе в Орловской губернії, когда я, мальчик лет восьми, вдруг почувствовал горячее, беспокойное желаніе немедленно сочинить что-то вроде стихов или сказки, будучи внезапно поражен тем, на что случайно наткнулся в какой-то книжке с картинками: я увидал в ней картинку, изображавшую какія-то дикія горы, белый холст водопада и какого-то приземистаго, толстаго мужика, карлика с бабьим лицом, с раздутым горлом, т. е. с зобом, стоявшаго под водопадом с длинной палкой в руке, в небольшой шляпке, похожей на женскую, с торчащим сбоку птичым пером, а под картинкой прочел подпись, поразившую меня своим последним словом, тогда еще, к счастью, неизвестным мне; «Встреча в горах с кретином». Кретин! Не будь этого необыкновенного слова, карлик с зобом, с бабьим лицом и в шляпке вроде женской показался бы мне, вероятно, только очень противным и больше ничего. Но кретин? В этом слове мне почудилось что-то страшное, загадочное, даже как будто волшебное! И вот охватило меня вдруг поэтическим волненіем. В тот день оно пропало даром, я не сочинил ни одной строчки, сколько ни старался сочинить. Но не был ли этот день все-таки каким-то началом моего писательства?

Во всяком случае, можно подумать, будто некій пророческий знак был для меня в том, что наткнулся я в тот день на эту картинку, ибо во всей моей дальнейшей жизни пришлось мне иметь не мало и своих собственных встреч с кретинами, на вид тоже довольно противными, хотя и без зоба, из коих некоторые, вовсе не будучи волшебными, были, однако, и впрямь страшны, и особенно тогда, когда та или иная мера кретинизма сочеталась в них с какой-нибудь большой способностью, одержимостью, с какими-нибудь истерическими силами, – ведь, как известно, и это бывает, было и будет во всех областях человеческой жизни. Да что! Мне, вообще, суждена была жизнь настолько необыкновенная, что я был современником даже и таких кретинов, имена которых на веки останутся во всемирной истории, – тех «величайших геніев человечества», что разрушали целые царства, истребляли миллионы человеческих жизней.

Я родился в Воронеже, прожил в нем целых три года, а кроме того провел однажды целую ночь, но Воронеж мне совсем неизвестен, ибо в ту ночь, что провел я в нем, я его не мог видеть: приглашен был воронежским студенческим землячеством читать на благотворительном вечере в пользу этого землячества, пріехал в темные зимніе сумерки, в метель, на вокзале был встречен с шампанским, не мало угождался и на вечере и перед рассветом был снова отвезен на вокзал к московскому поезду уже совсем хмельной. А те три года, что я прожил в Воронеже, были моим младенчеством.

Из Воронежа родители увезли меня в свое орловское имение. Вот с этой поры я и начинаю помнить себя. Там прошло мое детство, отрочество.

В те годы уже завершалось преславутое дворянское «оскудение», – под таким заглавием написал когда-то свою известную книгу ныне забытый Терпигорев-Атава. После него называли последним из тех, которые «воспевали» погибающія дворянскія гнезда, меня, а затем «воспел» погибшую красоту «вишневых садов» Чехов, имевший весьма малое представліеніе о дворянах-помещиках, о дворянских усадьбах, о их садах, но еще и теперь чуть не всех поголовно пленяющий мнимой красотой своего «вишневаго сада». Я Чехова за то очень многое, истинно прекрасное, что дал он, причисляю к самым замечательным русским писателям, но пьес его не люблю, мне тут даже неловко за него, непріятно вспоминать этого знаменитаго Дядю Ваню, доктора Астрова, который все долбит ни к селу, ни к городу что-то о необходимости насажденія лесов, какого-то Гаева, будто бы ужаснаго аристократа, для изображенія аристократизма котораго Станиславскій все время с противной изысканностью чистил ногти носовым батистовым платочком, – уж не говорю про помещика с фамиліей прямо из Гоголя: Симіонов-Пищик. Я рос именно в «оскудевшем» дворянском гнезде. Это было глухое степное поместье, но с большим садом, только

не вишневым, конечно, ибо, вопреки Чехову, нигде не было в Россіи садов сплошь вишневых: в помещичьих садах бывали только части садов, иногда даже очень пространные, где росли вишни, и нигде эти части не могли быть, опять таки вопреки Чехову, как раз возле господского дома, и ничего чудесного не было и нет в вишневых деревьях, совсем некрасивых, как известно, корявых, с мелкой листвой, с мелкими цветочками в пору цветенія (вовсе не похожими на то, что так крупно, роскошно цветет как раз под самыми окнами господского дома в Художественном театре); совсем невероятно к тому же, что Лопахин приказал рубить эти доходные деревья с таким глупым нетерпением, не давши их бывшей владелице даже выехать из дома: рубить так поспешилось Лопахину, очевидно, лишь затем, что Чехов хотел дать возможность зрителям Художественного театра услыхать стук топоров, воочію увидеть гибель дворянской жизни, а Фирсу сказать под занавес: «Человека забыли...» Этот Фирс довольно правдоподобен, но единственно потому, что тип старого барского слуги уже сто раз был написан до Чехова. Остальное, повторяю, просто несносно. Гаев, подобно тому, как это делают некоторые персонажи и в других пьесах Чехова, постоянно бормочет среди разговора с кем-нибудь чепуху, будто бы играя на бильярде: «Желтаго в середину... Дуплет в угол...» Раневская, будто бы помещица и будто бы парижанка, то и дело истерически плачет и смеется: «Какой изумительный сад! Белые массы цветов, голубое небо! Детская! Милая моя, прекрасная комната! (плачет). Шкапик мой родной! (целует шкатулку). Столик мой! О, мое детство, чистота моя! (смеется от радости). Белый, весь белый сад мой!» Дальше, – точно совсем из «Дяди Вани», – истерики Ани: «Мама! Мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя... я благословляю тебя! Вишневый сад продан, но не плачь, мама! Мы насадим новый сад, роскошнее этого, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама!» А рядом со всем этим – студент Трофимов, в некотором роде «Буревестник»: «Вперед! – восклицает он. – Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там, вдали! Вперед! Не отставай, друзья!»

Раневская, Нина Заречная... Даже и это: подобные фамиліи придумывают себе провинціальныя актрисы.

Впрочем, в моей молодости новые писатели уже почти сплошь состояли из людей городских, говоривших много несурзаного: один известный поэт, – он еще жив и мне не хочется называть его, – рассказывал в своих стихах, что он шел «колосья пшена разбирая», тогда как такого растения в природе, никак не существует: существует, как известно, просо, зерно которого и есть пшено, а колосья (точнее, метелки) растут так низко, что разбирать их руками на ходу невозможно; другой (Бальмонт) сравнивал лунь, вечернюю птицу яз породы сов, оперенiem седую, таинственно-тихую, медлительную и совершенно безшумную при перелетах, – со страстью («и страсть ушла, как отлетевший лунь»), восторгался цветением подорожника («подорожник весь в цвету!»), хотя подорожник, растущий на полевых дорогах небольшими зелеными листьями, никогда не цветет; а что до дворянских поместий и владельцев их, то Гумилев изображал их уж совсем плохо: у него в этих поместьях –

#### Дома косые двухэтажные

И тут же рига, скотный двор,  
– а сами помещики и того удивительнее, они, оказывается, «гордятся новыми поддевками» и по тиранству, по Домострою не уступают любому старозаветному Титу Титычу: дочери их будто бы пикнуть при них не смеют и, принуждаемые ими выходить замуж за постылых, нелюбимых, подумывают «стать русалками», то есть утопиться где-нибудь в речке или в пруду. А совсем недавно один из видных советских поэтов описал какого-то охотника, который идет в лесу «по дерну» и «несет в ягдаше золотую лису»: это так же правдоподобно, как если бы он нес в кармане собаку.

Кстати: почему свой театр Станиславскій и Немирович назвали «художественным» – как бы в отличие от всех прочих театров? Разве художественность не должна быть во всяком театре – как и во всяком искусстве? Разве не претендовал и не претендует каждый актер в каждом театре быть художником и разве мало было и в Россіи, и во всех прочих странах актеров художников?

Впрочем, Художественный театр называется теперь Художественным Театром имени Горькаго. Прославился этот театр прежде всего и больше всего Чеховым, – ведь даже и доныне на его занавесе чайка, но вот приказали присвоить ему имя Горькаго, автора лубочнаго я насквозь фальшиваго «дна», и Станиславскій с

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru  
Немировичем покорно приняли это приказание, хотя когда-то Немирович торжественно, публично, во всеуслышание всей России, сказал Чехову: «Это – твой театр, Антон». Как Кремль умеет запугивать! Вот передо мной книга, изданная в Москве в 1947 году – «Чехов в воспоминаниях современников», среди этих воспоминаний есть воспоминания М. П. Чеховой, и между прочим такая слова его: «Люди науки, искусства, литературы и политики окружали Антона Павловича: Алексей Максимович Горький, Л. Н. Толстой, В. Короленко, Куприн, Левитан бывали здесь...» В последние годы Чехова я не только бывал, пребывая в Ялте, каждый день в его доме, но иногда гостил в нем по неделям, с М. П. Чеховой был в отношениях почти братских, однако она, теперь глубокая старуха, не посмела даже упомянуть обо мне, трусливо пишет полностью: «Алексей Максимович Горький и Вячеслав Михайлович Молотов», подобострастно говорит:

«Вячеслав Михайлович Молотов выразил, очевидно, не только свое, но и всей советской интеллигенции, мнение, написав мне в 1936 году:

«Домик А. П. Чехова напоминает о славном писателе нашей страны, и надо, чтобы многие побывали в нем. Почтитель Чехова В. Молотов». Какие мудрые и благосклонные слова!

«Художественный театр имени Горького». Да что! Это капля в море. вся Россия, переименованная в СССР, покорно согласилась на самые наглые и идиотские оскорбления русской исторической жизни: город Великого Петра дали Ленину, древний Нижний Новгород превратился в Город Горький, древняя столица Тверского Удельного Княжества, Тверь, – в Калинин, в город какого-то ничтожнейшего типографского наборщика Калинина, а город Кенигсберг, город Канта, в Калининград, и даже вся русская эмиграция отнеслась к этому с полнейшим равнодушiem, не придала этому ровно никакого значения, – как, например, тому, что какой-то кудрявый пьяница, очаровавший ее писарской сердцешибательной лирикой «под гармонь, под тальянку», о котором очень верно сказал Блок: «У Есенина талант пошлости а кощунства», в свое время обещал переименовать Россию Китеха в какую-то «Ионию», орал, раздирая гармонь:

Ненавижу дыханье Китеха!  
Обещаю вам Ионию!  
Богу вышиплю бороду!  
Молюсь ему матерщиною!  
Я не чета каким-то там болванам,  
Пускай бываю иногда я пьяным,  
Зато в глазах моих прозрений дивных свет –  
Я вижу все и ясно понимаю,  
Что эра новая не фунт изюму вам,  
Что имя Ленина шумит, как ветр, по краю!  
За что русская эмиграция все ему простила? За то, видите ли, что он разудалая русская головушка, за то, что он то и дело притворно рыдал, оплакивал свою горькую судьбинушку, хотя последнее уж куда не ново, ибо какой «мальчишка», отправляемый из одесского порта на Сахалин, тоже не оплакивал себя с величайшим самовосхищением?

Я мать свою зарезал,  
Отца сваво убил,  
А младшую сестренку  
Невинности лишил...  
Простила и за то, что он – «самородок», хотя уж так много было подобных русских самородков, что Дон Аминадо когда-то писал:

Осточертели эти самые самородки  
От сохи, от земли, от земледелия,  
Довольно этой косоворотки и водки  
И стихов с похмелем!  
В сущности, не так уж много  
Требуется, чтобы стать поэтами:  
Запустить в Господа Бога  
Тяжелыми предметами,  
Расшвырять, сообразно со вкусами,  
Письменными принадлежностями,  
Тряхнуть кудрями русыми  
И зарыдать от нежности...

**Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru**

Первые шаги Есенина на поэтическом поприще известны, поэт Г. В. Адамович, его современник, лично знавший его, рассказал о них наиболее точно: «Появился Есенин в Петербурге во время первой мировой войны и принят был в писательской среде с насмешливым удивлением. Валенки, голубая шелковая рубашка; с поясом, желтые волосы в скобку, глаза долу, скромные вздохи: «Где уж нам, деревенщике!» А за этим маскарадом – неистовый карьеризм, ненасытное самолюбие и славолюбие, ежеминутно готовое прорваться в дерзость. Соловьев отозвался о нем так, что и повторять в печати невозможно, Кузьмин морщился, Гумилев пожимал плечами, Гиппіус, взглянув на его валенки в лорнет, спросила: «Что это на вас за гетры такія?» Все это заставило Есенина перебраться в Москву и там он быстро стал популярен, примкнув к «имажинистам». Потом начались его скандалы, дебоши, «Господи, отелись», приступы манії величія, Айседора Дункан, турнэ с ней по Европе и Америке, неистовые избієнія ея, возвращеніе в Россію, новые женитьбы, новые скандалы, пьянство – в самоубійство...»

Очень точно говорил и сам Есенин о себе, – о том, как надо пробиваться в люди, поучал на этот счет своего приятеля Маріенгофа. Маріенгоф был пройдоха не меньше его, был величайший негодяй, это им была написана однажды такая строчка о Богоматери, гнусней которой невозможно выдумать, по гнусности равная только тому, что написал о Ней однажды Бабель. И вот Есенин все-таки поучал его:

«Так, с бухты барахты, не след лезть в литературу, Толя, тут надо вести тончайшую политику. Вон смотри – Белый: и волос уж седой, и лысина, а даже перед своей кухаркой и то вдохновенно ходит. А еще очень невредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят. Знаешь, как я на Парнас всходил? Всходил в поддевке, в рубашке расшитой, как полотенце, с голиницами в гармошку. Все на меня в лорнеты, – «ах, как замечательно, ах, как геніально!» – А я то краснею, как девушка, никому в глаза не гляжу от робости.... Меня потом по салонам таскали, а я им похабные частушки распевал под тальянку... Вот и Клюев тоже так. Тот маляром прикинулся. К Городецкому с черного хода пришел, – не надо ли, мол, чего покрасить, – и давай кухарке стихи читать, а кухарка сейчас к барину, а барин зовет поэта-маляра в комнату, а поэт-то упирается: «где уж нам в горницу, креслица барину перепачкаю, пол вощеный наслежу... Барин предлагает садиться – Клюев опять ломается, мнется: да нет, мы постоим...»

Интересны были и воспоминанія Родіона Березова, его бывшаго приятеля, напечатанныя в «Новом Русском Слове» в Нью-Йорке.. Березов писал о Есенине с умилением:

– Помнишь, Сережа, спрашивали Есенина его сверстники, парни того села, откуда он был родом и куда порой наезжал, – помнишь, как мы вытянули с тобой бредень, а там видимо-невидимо золотых карасей? Помнишь ночное, печеную картошку?

И Есенин отвечал:

– Все помню, братцы, вот что было в Нью-Йорке на банкетах в мою честь, забыл, а наше, родное помню...

Но рубашки он носил, по словам Березова, только шелковые, галстуки и ботинки самые модные, хотя читал свои стихи публично тоже как «глубоко свой парень», покачивая кудрявой головой, слегка выкрикивая концы строк и, конечно, не спроста напоминая, что он скандалист, хулиган, «разудалая Русь»:

Заметался пожар голубой,  
Позабылись родимыя дали,  
Первый раз я запел про любовь,  
Первый раз отрекаюсь скандалить...

Чем тут, казалось бы, восхищаться? Этой лирикой мошенника, который свое хулиганство уже давно сделал выгодной профессіей, своим вечным баҳвальством, как и многими, прочими своими качествами?

Синій май.

Заревая теплынь.

Не прозякнет кольцо у калитки.

Липким запахом веет полынь,

Спит черемуха в белой накидке...

Дело происходит в мае, в саду, – откуда же взялась полынь, запах которой, как известно, сухой, острый, а вовсе не липкий, а если бы и был липкий, то не мог бы

Дальше, несмотря на спящую черемуху, -

Сад полыхает, как пенный пожар,  
И луна, напрягая все силы,  
Хочет так, чтобы каждый дрожал  
От щемящего слова «милый»...

Желаніе луны понятно, - недаром Бальмонт утверждал, что даже «каждая ящерица ищет щемящих ощущений»; но опять: откуда взялись в этой заревой теплыни полыхающей пенным пожаром сад и такая неистовая луна? И кончается все это так:

Только я в эту тишину, в эту гладь,  
Под тальянку веселого мая,  
Не могу ничего пожелать,  
Все, как есть, без конца принимая...  
Тут май оказался уже веселым и даже тальянкой; но и это не беда: восхищаются...

Он любил песню, рассказывал Березов: «Мы часто встречались с ним в редакции журнала Красная Новь. Песни он мог слушать везде и всегда. Вот картишка: Есенин в черном котелке и модном демисезонном пальто «реглан», в лаковых полуботинках, с тростью в левой руке, облокотившись на выступ книжного шкафа, слушает, а мы поем...» Рисовал Березов и другія "картинки" - как жил и как «творил» Есенин (игравшій и другія роли, уже не хулиганскія):

«Жил Есенин в Брюссовском переулке, в большом доме на восьмом этаже. Из окна комнаты открывался вид на Кремль. Комната эта принадлежала Гале Бениславской, которая стала его женой. Пріятныя, светлыя обои, изящные гравюры. На письменном столе порядок. На обеденном, посреди комнаты, темная скатерть, ваза с фруктами. У одной из стен кушетка о красивыми подушками. У другой кровать, застеленная шелковым самаркандским покрывалом... В воскресенье Есенин творит, Гая не хочет ему мешать и с утра уезжает за город. Они ходят одна по полям и рощам и думает о том, что в эти минуты из под его пера выливаются проникновенные строки. Мы сидим у обеденного стола, Есенин рассказывает нам о своей поездке в Америку, о мучительной тоске, пережитой им за океаном, о слезах, пролитых им, когда он очутился на родной земле и увидел покорные всем ветрам, стройные березки. Вот он идет в коридор, поднявшись, слышим его шепот: «Груша, сходите за цветами, купите самых красивых». Я знал, что когда к сердцу Есенина подкатывает волна вдохновенія, он одевается по праздничному, как для обедни, и ставит на письменный стол цветы. Все его существо уже захвачено стихіей творчества. Мы уходим, навстречу нам Груша с цветами, а в это время Гая Бениславская одиноко бродит за городом и молится небу, цветам, голубым озерам и рощам за раба Божія Сергея и за его вдохновенное творчество...»

Я читал все это, чувствуя приступы тошноты. Нет, уж лучше Маяковский! Тот, по крайней мере, рассказывая о своей поездке в Америку, просто «крыл» ее, не говорил подых слов «о мучительной тоске» за океаном, о слезах при виде березок...

О Есенине была в свое время еще статья Владислава Ходасевича в «Современных Записках»: Ходасевич в этой статье говорил, что у Есенина, в числе прочих способов обольщать девиц, был и такой: он предлагал намеченной им девице посмотреть разстрелы в Чека, - я, мол, для вас легко могу устроить это. «Власть, Чека покровительствовали той банде, которой Есенин был окружен, говорил Ходасевич: она была полезна большевикам, как вносящая сумятицу и безобразіе в русскую литературу...»

Печататься я начал в конце восьмидесятых годов. Так называемые декаденты и символисты, появившиеся через несколько лет после того, утверждали, что в те годы русская литература «зашла в тупик», стала чахнуть, сереть, ничего не знала кроме реализма, протокольного описывания действительности... Но давно ли перед этим появились, например, «Братья Карамазовы», «Клара Милич», «Песнь торжествующей любви». Так ли уж реалистичны были печатавшиеся тогда «Вечерние огни» Фета, стихи В. Соловьева? Можно ли назвать серыми появившиеся в ту пору лучшія вещи Лескова, не говоря уже о Толстом, о его изумительных, несравненных «народных» сказках, о «Смерти Ивана Ильича», «Крейцеровой сонате»? И так ли уж были не новы - и по духу и по форме - как раз в то время выступившіе Гаршин, Чехов?

В литературную среду я вошел в середине девяностых годов. Тут я уже не застал, к несчастью, ни фета, ни Полонского, не застал Гаршина, – его прекрасный человеческий образ сочетался с талантом, который, если бы не погиб в самоубийстве, развился бы несомненно так, что поставил бы его в ряд с самыми большими русскими писателями. Но я застал еще не только самого Толстого, но и Чехова; застал Эртеля, тоже замечательного человека и автора «Гардениных», романа, который навсегда останется в русской литературе; застал Короленко, написавшего свой чудесный «Сон Макара», застал Григоровича, – видел его однажды в книжном магазине Суворина: тут передо мной был уже легендарный человек; застал поэта Жемчужникова, одного из авторов «Кузьмы Пруткова», часто бывал у него и он называл меня своим юным другом... Но в те годы была в Россіи уже в полном разгаре ожесточенная война народников с марксистами, которые полагали оплотом будущей революції бояческій пролетаріат. В это-то время и воцарился в литературе, в одном стане ея, Горький, ловко подхватившій их надежды на бояка, автор «Челкаша», «Старухи Изергиль», – в этом рассказе какой-то Данко, «пламенный борец за свободу и светлое будущее, – такие борцы ведь всегда пламенные, – вырвал из своей груди свое пылающее сердце, дабы бежать куда-то вперед, увлекая за собой человечество и разгоняя этим пылающим сердцем, как факелом, мрак реакції. А в другом стане уже славились Мережковский, Гиппіус, Бальмонт, Брюсов, Сологуб... Всероссійская слава Надсона в те годы уже кончилась, Минский, его близкій друг, еще недавно призывавший грозу революції:

Пусть же гром ударит и в мое жилище,  
Пусть я даже буду первый грома пищей! –  
Минский, все-таки не ставший пищей грома, теперь перестраивал свою лиру тоже на их лад. Вот незадолго до этого я и познакомился с Бальмонтом, Брюсовым, Сологубом, когда они были горячими поклонниками французских декадентов, равно как Верхарна, Пшибылевского, Ибсена, Гамсуга, Метерлінка, но совсем не интересовались еще пролетариатом: это уже гораздо позднее многие из них запели подобно Минскому:

Пролетаріі всех стран, соединяйтесь!

Наша сила, наша воля, наша власть! – подобно Бальмонту, подобно Брюсову, бывшему, когда нужно было, декадентом, потом монархистом славянофилом, патріотом во время первой міровой войны, а кончившему свою карьеру страстным воплем:

Горе, горе! Умер Ленин!

Вот лежит он хладен, тленен!

Вскоре после нашего знакомства Брюсов читал мне, лая в нос, ужасную чепуху:

О, плачьте,  
О, плачьте

До радостных слез!

Высоко на мачте

Мелькает матрос!

Лаял и другое, нечто уже совершенно удивительное – про восход месяца, который, как известно, называется еще и луною:

Всходит месяц обнаженный  
При лазоревой луне!

Впоследствии он стал писать гораздо вразумительнее, несколько лет подряд развивал свой стихотворный талант неуклонно, достиг в версификації большого мастерства и разнообразія, хотя нередко срывался и тогда в дикую словесную неуклюжесть и полное свинство изображаемаго:

Альков задвинутый,  
Дрожанье тьмы,  
Ты запрокинута  
И двое мы...

Был он кроме того неизменно напыщен не меньше Кузьмы Пруткова, корчил из себя демона, мага, безпощадного «мэтра», «кормщика»... Потом неуклонно стал слабеть, превращаться в совершенно смехотворного стихоплета, помешанного на придумывании необыкновенных рифм:

В годы Кука, давно славные,  
Бригам ребра ты дробил,

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru  
чтоб тебя узнать, их главный – и  
Непотворный опыт был...

Что до Бальмонта, то он своими выкрутасами однажды возмутил даже Гиппіус. Это было при мне на одной из литературных «пятниц» у поэта Случевского. Собралось много народа, Бальмонт был в особенном ударе, читал свое первое стихотворение с такой самоупоенностью, что даже облизывался:

Лютики, ландыши, ласки любовныя...  
Потом читая второе, с отрывистой чеканностью:  
Берег, буря, в берег бьется  
Чуждый чарам черный челн...

Гиппіус все время как-то сонно смотрела на него в лорнет и, когда он кончил и все еще молчали, медленно сказала:

– Первое стихотворение очень пошло, второе – непонятно.

Бальмонт налился кровью:

– Пренебрегаю вашей дерзостью, но желаю знать, на что именно не хватает вашего понимання?

– Я не понимаю, что это за челн и почему и каким таким чарам он чужд, –  
раздельно ответила Гиппіус.

Бальмонт стал подобен очковой змее:

– Поэт не изумился бы мещанке, обратившейся к нему за разъяснением его поэтического образа. По когда поэту докучает мещанскими вопросами тоже поэт, он не в силах сдержать своего гнева. Вы не понимаете? Но не могу же я приставить вам свою голову, дабы вы стали понятливей!

– Но я ужасно рада, что вы не можете, ответила Гиппіус.– Для меня было бы истиинным несчастием иметь вашу голову...

Бальмонт был вообще удивительный человек. Человек, иногда многих восхищавший своей «детскойностью», неожиданным наивным смехом, который, однако, всегда был с некоторой бесовской хитрецой, человек, в натуре которого было не мало притворной нежности, «сладостности», выражаясь его языком, но, не мало и совсем другого – дикого буйства, зверской драчливости, плошадной дерзости. Это был человек, который всю свою жизнь поистине изнемогал от самовлюбленности, был упоен собой, уверен в себе до такой степени, что однажды вполне простодушно напечатал свой рассказ о том, как он был у Толстого, как читал ему свои стихи, и как Толстой помирал со смеху, качаясь в качалке: ничуть не смущенный этим смехом, Бальмонт закончил свой рассказ так:

– Старик ловко притворился, что ему мои стихи не нравятся!

С необыкновенной наивностью рассказывал он немало и другого. Например, о том, как посетил он Метерлинка:

– Художественный театр готовился ставить «Синюю Птицу» и просил меня, ехавшаго как раз тогда заграницу, заехать в Метерлинку, спросить его, как он сам мыслит постановку своего созданія. Я с удовольствием согласился, но у Метерлинка ожидало меня нечто весьма странное. Во-первых, звонил я въ его жилище чуть не целый час, во-вторых, когда, наконец, дозвонился, мне отворила какая-то мегера, загородившая мне порог своей особой. И в-третьих, когда я все-таки эту преграду преступил, то предо мной оказалась такая картина: пустая комната, посреди – всего один стул, возле стула стоит Метерлинк, а на стуле сидит толстая собака. Я кланяюсь, называю себя, в полной уверенности, что мое имя небезвестно хозяину. Но Метерлинк молчит, молча глядит на меня, а подлая собака начинает рычать. Во мне закипает страстное желание сбросить это чудовище со стула на пол и отчитать хозяина за его неучтивость. Но, сдержав свой гнев, я излагаю причину своего визита. Метерлинк молчит по-прежнему, а собака начинает уже захлебываться от рычанія. «Будьте же добры, говорю я тогда достаточно резко, соблаговолите мне сказать, что вы думаете о постановке вашего созданія?» И он наконец отверзает уста: «Ровно ничего не думаю. До свиданья». Я выскочил от него со стремительностью пули и с бешенством разъяренного демона...

Рассказывал свое приключение на Мысе Доброй Надежды:

– Когда наш корабль, – Бальмонт никогда не мог сказать «пароход», – бросил якорь в гавани, я сошел на сушу и углубился в страну, – тут Бальмонт опять таки не мог сказать, что он просто вышел за город, – я увидел род вигвама, заглянул в него и увидел в нем старуху, но все же прельстительную своей старостью и безобразием, тотчас пожелал осуществить свою блізость с ней, но, вероятно, потому что я, владеющий многими языками міра, не владею языком «зулю», эта ведьма кинулась на меня с толстой палкой, и я принужден был спастись бегством...

«Я, владеющій многими языками міра...» Не один Бальмонт так безсовестно лгал о своем знании языков. Лгал, например, и Брюсов. Это, конечно, на основании того, что сам Брюсов распространял про себя, сказано в книге какого-то Мясникова («Поэзия Брюсова»), изданной в 1945 г. в Москве: «Брюсов свободно владея французским и латинским языками, читал без словаря свободно по-англійски, по-итальянски, по-немецки, по-гречески и отчасти по-испански и по-шведски, имел представление о языках: санскритском, польском, чешском, болгарском, сербском, древнееврейском, древнеегипетском, арабском, древнеперсидском и японском...» Не отставал от него и его соратник по издательству «Скорпион» С. А. Поляков: его сотрудник М. Н. Семенов рассказал недавно в газете «Русская Мысль», что этот Поляков «знал все европейские языки и около дюжины восточных...» Вы только подумайте: все европейские языки и около дюжины восточных! Что до Бальмента, то он «владел многими языками міра» очень плохо, даже самый простой разговор по-французски был ему труден. Однажды в Париже, в годы эмиграции, он встретился у меня с моим литературным агентом, американцем Брадлеем, и когда Брадлей заговорил с ним по-англійски, покраснел, смешался, перешел на французский язык, но и по-французски путался, делал грубые ошибки... Как же все-таки сделал он столько переводов с разных языков, даже с грузинского, с армянского? Вероятно, не раз с подстрочников. А до чего на свой лад, о том и говорить нечего. Вот, например, сонет Шелли, вот его первая строчка, – очень несложная: в пустыне, в песках, лежит великая статуя, – только и всего сказал о ней Шелли; а Бальмонт? «В нагих песках, где вечность сторожит пустыни тишину...» Что же до незнанія «языка зулю», проще говоря, зулусского, и печальных последствій этого незнанія, то бывало множество столь же печальных последствій и в других случаях, когда Бальмонт говорил на языках, ему более или менее известных, только тут уже в силу пристрастія Бальмента к восклицаніям:

Знаю, как нещадно били его – и не раз – лондонськіе полицейськіе в силу этого пристрастія, как однажды били его ночью полицейськіе в Париже, потому что шел он с какой-то дамой позади двух полицейских и так бешено кричал на даму, ударяя на слово «ваш» («ваш хитрый взор, ваш лукавый ум!»), что полицейськіе решили, что это он кричит на них на парижском жаргоне воров и алашей, где слово «vache» (корова) употребляется как чрезвычайно оскорбительная кличка полицейских, еще более глупая, чем та, которой оскорбляли их в Россії: «фараон». А при мне было однажды с Бальмтом такое: мы гостили с ним летом под Одессой, в немецком поселке на берегу моря, пошли как-то втроем, – он, писатель Федоров и я, – купаться, разделились и уже хотели идти в воду, но тут, на беду, вылез из воды на берег брат Федорова, огромный мужик, босик из одесского порта, вечный острожник и, увидав его, Бальмонт почему-то впал в трагическую ярость, кинулся к нему, театрально заорал: – «Дикарь, я вызываю тебя на бой!» – а «дикарь» лениво смерил его тусклым взглядом, сгреб в охапку своими страшными лапами, и запустил в колючія прибрежные заросли, из которых Бальмонт вылез весь окровавленный...

Удивительный он был вообще человек, – человек, за всю свою долгую жизнь не сказавший ни единого словечка в простоте, называвший в стихах даже тайные прелести своих возлюбленных на редкость скверно: «Зачарованный Гrot».

И еще: при всем этом был он довольно расчетливый человек. Когда-то в журнале Брюсова, в «Весах», называл меня, в угоду Брюсову, «малым ручейком, способным лишь журчать». Позднее, когда времена изменились, стал вдруг милостив ко мне, – сказал, прочитав мой рассказ «Господин из Сан-Франциско»:

– Бунин, у вас есть чувство корабля!

А еще позднее, в мои нобелевские дни, сравнил меня на одном собраниі в Париже уже не с ручейком, а со львом: прочел сонет в мою честь, в котором, конечно, и себя не забыл, – начал сонет так:

Расчетлив он был и политически. В Москве в 1930 году издавалась «Литературная энциклопедія» и вот что сказано о нем в первом томе этой энциклопедии:

«Бальмонт – один из вождей русского символизма... По окончанию гимназии поступил в московский университет, откуда был исключен за участие в студенческом движении. Но общественные интересы его очень скоро уступили место эстетизму и индивидуализму. Короткий рецидив революционных настроений в 1905 году и затем издание в Париже сборника революционных стихотворений «Песни мстителя» превратили Бальмента в политического эмигранта. В Россию вернулся в 1913 г. после царского манифеста. На империалистическую войну откликнулся шовинистически. Но в 1920 г. опубликовал в журнале Наркомпроса стихотворение «Предвозвещенное», восторженно приветствуя Октябрьскую революцию. Выехав по командировке Советского правительства заграницу, перешел в лагерь белогвардейской эмиграции... Сменив свое преклонение перед гармоническим пантезисом Шелли на преклонение перед извращенно-демоническим Бодлером, «пожелал стать певцом страсти и преступления», как сказал о нем Брюсов. В сонете «Уроды» прославил «кривые кактусы, побеги белены и змей и ящериц отверженные роды, чуму, проказу, тьму, убийство и беду, Гоморру и Содом», восторженно приветствовал, как «брата», Нерона...»

Не знаю, что такое «Предвозвещенное», которым, без сомнения, столь же «восторженно», как «чуму, проказу, тьму, убийство беду», встретил Бальмонт большевиков, но знаю кое-что из того, чем встретил он 1905 год, что напечатал осенью того года в большевистской газете «Новая Жизнь», – например, такие строки:

Кто не верит в победу сознательных, смелых рабочих,  
Тот безчестный, тот шулер, ведет он двойную игру!  
Это так глупо и, грубо в смысле подхалимства, что, кажется, дальше идти некуда:  
почему «бесчестный», почему «шулер» и какую такую «ведет он двойную игру»? Но  
это еще цветочки; а вот в «Песнях мстителя» уже ягодки, такое, чему просто имени  
нет; тут в стихах под заглавием «Русскому офицеру», написанных по поводу  
разгрома московского восстания в конце 1905 года, можно прочесть следующее:

Грубый солдат! Ты еще не постиг,  
Кому же ты служишь лакеем?  
Ты сопричислился – о, не на миг! –  
К подлым, к безчестным, к злодеям!  
Я тебя видел в расцвете души,  
Встречал тебя вольно красивым.  
Низкий. Как пал ты! В трясине! в глуши!  
Труп ты – во гробе червивом!  
Кровью ты залил свой жалкий мундир,  
Душою ты в пропасти темной.  
Проклят ты. Проклят тобою весь мир.  
Нечисть! убийца наемный!  
Но и этого мало: дальше идут «песни» о царе:

Наш царь – убожество слепое,  
Тюрьма и кнут, подсуд разстрел,  
Царь висельник...  
Он трус, он чувствует с запинкой,  
Но будет, час расплаты ждет!  
Ты был ничтожный человек,  
Теперь ты грязный зверь!  
Царь губошлепствует...  
О мерзость мерзостей!  
Распад, зловонье гноя,  
Нарыв уже набух, и, пухлый, ждет ножа.  
Тесней, товарищи, сплотимтесь все для боя,  
Ухватим этого колючаго ежа!  
Царь наш весь мерзостный, с лисьим хвостом,  
С пастью, прилично волку,  
К миру людей призывает – притом  
Грабит весь мир втихомолку,  
Грабит, кощунствует, ежится, лжет,

Жалко скулит, как щенята!

Ты карлик, ты Кошечка, ты грязью, кровью пьяный,  
Ты должен быть убит!

Все это было напечатано в 1907 году в Париже, куда Бальмонт бежал после разгрома московского восстания, и ничуть не помешало ему вполне безопасно вернуться в Россию. А Гржебин, начавший еще до восстания издавать в Петербурге иллюстрированный сатирический журнал, первый выпуск его украсив обложкой с нарисованным на ней во всю страницу голым человеческим задом под императорской короной, даже и не бежал никуда и никто его и пальцем не тронул. Горький бежал сперва в Америку, потом в Италию...

Мечтая о революции, Короленко, благородная душа, вспоминал чьи-то милые стихи:

Петухи поют на Святой Руси –  
Скоро будет день на Святой Руси!

Андреев, изолгавшийся во всяческом пафосе, писал о ней Вересаеву: »Побаиваюсь кадетов, ибо зрю в них грядущее начальство. Не столько строителей жизни, сколько строителей усовершенствованных тюрем. Либо победит революция и социалы, либо квашенная конституционная капуста. Если революция, то это будет нечто умопомрачительно радостное, великое, небывалое, не только новая Россия, но новая земля!»

«И вот приходит еще один вестник к Тому и говорит ему: сыновья твои и дочери твоя ели и пили вино в доме первородного брата твоего; и вот большой ветер пришел из пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на них и они умерли...»

«Нечто умопомрачительно радостное» наконец, настало. Но об этом даже Е. Д. Кускова обмолвилась однажды так:

«Русская революция проделана была зоологически».

Это было сказано еще в 1922 году и сказано не совсем справедливо: в мире зоологическом никогда не бывает такого безмысленного зверства, – зверства ради зверства, – какое бывает в мире человеческом и особенно во время революций; зверь, гад действует всегда разумно, с практической целью: жрет другого зверя, гада только в силу того, что должен питаться, или просто уничтожает его, когда он мешает ему в существовании, и только этим и довольствуется, а не сладострастничает в смертоубийстве, не упивается им, «как таковым», не издается, не измывается над своей жертвой, как делает это человек, – особенно тогда, когда он знает свою безнаказанность, когда порой (как, например, во время революций) это даже считается «священным гневом», геройством и награждается: властью, благами жизни, орденами вроде ордена какого-нибудь Ленина, ордена «Красного Знамени»; нет в мире зоологическом и такого скотского оплевания, осквернения, разрушения прошлого, нет «светлого будущего», нет профессиональных устроителей всеобщего счастья на земле и не длится будто бы ради этого счастья сказочное смертоубийство без всякого перерыва целыми десятилетиями при помощи набранной и организованной с истинно дьявольским искусством миллионной армии профессиональных убийц, палачей из самых страшных выродков, психопатов, садистов, – как та армия, что стала набираться в России с первых дней царствия Ленина, Троцкого, Джерзинского, и прославилась уже многими меняющимися кличками: Чека, ГПУ, НКВД...

В конце девяностых годов еще не пришел, но уже чувствовался «большой ветер из пустыни». И был он уже тлетворен в России для той «новой» литературы, что как-то вдруг пришла на смену прежней. Новые люди этой новой литературы уже выходили тогда в первые ряды и были удивительно не схожи ни в чем с прежними, еще столь недавними «властителями дум и чувств», как тогда выражались. Некоторые прежние еще властовали, но число их приверженцев все уменьшалось, а слава новых все росла. Аким Волынский, видно не даром объявил тогда: «Народилась в мире новая мозговая линия!» И чуть не все из тех новых, что были во главе нового, от Горького до Соловьева, были люди от природы одаренные, наделенные редкой энергией, большими силами и большими способностями. Но вот что чрезвычайно знаменательно для тех дней, когда уже близится «ветер из пустыни»: силы и способности почти всех новаторов были довольно низкого качества, порочны от природы, смешаны с пошлым, лживым, спекулятивным, с угодничеством улице, с безстыдной жаждой успехов, скандалов...

Толстой немного позднее определил все это так:

«Удивительна дерзость и глупость нынешних новых писателей!»

Это время было временем уже резкого упадка в литературе, нравов, чести, совести, вкуса, ума, такта, меры... Розанов в то время очень кстати (и с гордостью) заявил однажды: «Литература – мои штаны, что хочу, то в них и делаю... Впоследствии Блок писал в своем дневнике:

- Литературная среда смердит...
- Брюсову все еще не надоело ломаться, актерствовать, делать мелкія гадости...
- Мережковские – хлыстовство...
- Статья Вячеслава Иванова душная и тяжелая...
- Все ближайшіе люди на границе безумія, больны, расшатаны... Устал... Болен... (вечером напился... Ремизов, Гершензон – все больны... У модернистов только завитки вокруг пустоты...)
- Городецкий, пытающийся пророчить о какой-то Руси...
- Талант пошлости и кощунства у Есенина.
- Белый не мужает, восторжен, ничего о жизни, все не из жизни!...
- У Алексея Толстого все испорчено хулиганством, отсутствием художественной меры. Пока будет думать, что жизнь состоит из трюков, будет бесплодная смоковница...
- Вернисажи, «Бродячія собаки»... Позднее писал Блок и о революції, – например, в мае 1917 года:
  - Старая русская власть опиралась на очень глубокія свойства русской жизни, которые заложены в гораздо большем количестве русских людей, чем это принято думать по революціонному... Не мог сразу сделаться революционным народ, для которого крушение старой власти оказалось неожиданным «чудом». Революція предполагает волю. Была ли воля? Со стороны кучки...

И в іюле того же года писал о том же:

- Германскія деньги и агитація огромны... Ночь, на улице галдеж, хохот...

Через некоторое время он, как известно, впал в некій род помешательства на большевизме, но это ничуть не исключает правильности того, что он писал о революціи раньше. И я привел его сужденія о ней не с политической целью, а затем, чтобы сказать, что та «революція», которая началась в девяностых годах в русской литературе, была тоже некоторым «неожиданным чудом», и что в этой литературной революціи тоже было с самого ея начала то хулиганство, то отсутствіе меры, те трюки, которые напрасно Блок приписывает одному Алексею Толстому, были и впрямь «завитки вокруг пустоты». Был в свое время и сам Блок грешен на счет этих «завитков», да еще каких! Андрей Белый, употребляя для каждого слова большую букву, называл Брюсова в своих писаніях «Тайным Рыцарем Жены, Облеченней в Солнце». А сам Блок, еще раньше Белаго, в 1904 году, поднес Брюсову книгу своих стихов с такой надписью:

Законодателю русского стиха,

Кормщику в темном плаще,

Путеводной Зеленої звезде – меж тем, как этот «Кормщик», «Зеленая звезда», этот «Тайный Рыцарь Жены, Облеченный в Солнце», был сыном мелкого московского купца, торговавшего пробками, жил на Цветном бульваре в отеческом доме, и дом этот был настоящий уездный, третьей гильдії купеческій, с воротами всегда запертыми на замок, с калиткою, с собакой на цепи во дворе. Познакомясь с Брюсовым, когда он был еще студентом, я увидел молодого человека, черноглазого, с довольно толстой и тугой гостинодворческой и скучающей фізіономієй. Говорил этот гостинодворец, однако, очень изысканно, высокопарно, с отрывистой и гнусавой

Воспоминанія. Іван Алексеевич Бунін buninivan.ru четкостю, точно лаял в свой дудкообразный нос и все время сентенціями, тоном поучительным, не допускающим возражений. Все было в его словах крайне революціонно (в смысле искусства), – да здравствует только новое и долой все старое! Он даже предлагал все старые книги до тла скечь на кострах, «вот как Омар скжег Александрійскую бібліотеку!» – воскликнул он. Но вместе с тем для всего нового уже были у него, этого «дерзателя, разрушителя», жесточайші, непоколебимые правила, уставы, узаконенія, за малейшее отступление от которых он, видимо, готов был тоже жечь на кострах. И аккуратность у него, в его низкой комнате на антресолях, была удивительная.

«Тайный Рыцарь, Кормщик, Зеленая Звезда...» Тогда и заглавія книг всех этих рыцарей и кормщиков были не менее удивительны:

«Снежная маска», «Кубок метелей», «Змеиные цветы»... Тогда, кроме того, ставили их, эти заглавія, непременно на самом верху обложки в углу слева. И помню, как однажды Чехов, посмотрев на такую обложку, вдруг радостно захохотал и сказал:

– Это для косых!

В моих воспоминаніях о Чехове сказано кое-что о том, как вообще относился он и к «декадентам» и к Горькому, к Андрееву... Вот еще одно свидетельство в том же роде.

Года три тому назад, – в 1947 году, – в Москве издана книга под заглавіем «А. П. Чехов в воспоминаніях современников». В этой книге напечатаны между прочим воспоминанія А. Н. Тихонова (А. Сереброва). Этот Тихонов всю жизнь состоял при Горьком. В юности он учился в Горном институте и летом 1902 года производил разведки на каменный уголь в уральском имении Саввы Морозова, и вот Савва Морозов приехал однажды в это имение вместе с Чеховым. Тут, говорит Тихонов, я провел несколько дней в обществе Чехова и однажды имел с ним разговор о Горьком, об Андрееве. Я слышал, что Чехов любит и ценит Горького и со своей стороны не поспешил на похвалу автору «Буревестника», просто задыхался от восторженных междометій я восхищательных знаков.

– Извините... Я не понимаю... – оборвал меня Чехов с непріятной вежливостью человека, которому наступили на ногу. – Я не понимаю, почему вы; и вообще вся молодежь без ума от Горького? Вот вам всем нравится его «Буревестник», «Песнь о соколе»... Но ведь это не литература, а только набор громких слов...

От изумленія я обжегся глотком чая.

– Море смеялось, – продолжал Чехов, нервно покручивая шнурок от пінснэ. – Вы, конечно, в восторге! Как замечательно! А ведь это дешевка, лубок. (Вот вы прочитали «море смеялось» и остановились. Вы думаете, остановились потому, что это хорошо, художественно. Да нет же! Вы остановились просто потому, что сразу поняли, как это так – море – и вдруг смеется? Море не смеется, не плачет, оно шумит, плещется, сверкает... Посмотрите у Толстого: солнце всходит, солнце заходит... Никто не рыдает и не смеется...)

Длинными пальцами: он трогал пепельницу, блюдечко, молочник и сейчас же с какой-то брезгливостью отпихивал их от себя.

– Вот вы сослались на «Фому Гордеева», – продолжал он, сжимая около глаз гусиные лапки морщин. – И опять неудачно! Он весь по прямой лінії, на одном герое построен, как шашлык на вертеле. И все персонажи говорят одинаково, на «о»...

С Горьким мне явно не повезло. Я попробовал отыграться на Художественном Театре.

– Ничего, театр как театр, – опять погасил мои восторги Чехов. – По крайней мере актеры роли знают. А Москвин даже талантливый... Вообще наши актеры еще очень некультурны...

Как утопающій за соломинку, я ухватился за «декадентов», которых считал новым теченіем в литературе.

– Никаких декадентов нет и не было, – безжалостно доканал меня Чехов. – Откуда вы их взяли? Жулики они, а не декаденты. Вы им не верьте. И, ноги у них вовсе не «бледные», а такія же как у всех – волосатыя...

Воспоминанія. Іван Алексеевич Бунін buninivan.ru  
Я упомянул об Андрееве: Чехов икоса, с недоброй улыбкой поглядывал на меня:

– Ну, какой же Леонид Андреев – писатель? Это просто помощник присяжного поверенного, из тех, которые ужасно любят красиво говорить...

Мне Чехов говорил о «декадентах» несколько иначе, чем Тихонову, – не только как о жуликах:

– Какіе они декаденты! – говорил он, – они здоровеннейшіе мужики, их бы в арестантскія роты отдать...

Правда – почти все были «жулики» и «здоровеннейшіе мужики», но нельзя сказать, что здоровые, нормальные. Силы (да и литературные способности) у «декадентов» времени Чехова и у тех, что увеличили их число и славились впоследствії, называясь уже не декадентами и не символистами, а футуристами, мистическими анархистами, аргонавтами, равно, как и у прочих, – у Горького, Андреева, позднее, например, у тщедушного, дохлого от болезней Арцыбашева или у педераста Кузьмина с его полуголым черепом и гробовым лицом, раскрашенным как труп проститутки, – были я впрямь велики, но таковы, какими обладают истерики, юроды, помешанные: ибо кто же из них мог называться здоровым в обычном смысле этого слова? Все они были хитры, отлично знали, что потребно для привлеченія к себе вниманія, но ведь обладает всеми этими качествами и большинство истериков, юродов, помешанных. И вот: какое удивительное скопленіе нездоровых, ненормальных в той или иной форме, в той или иной степени было еще при Чехове и как все росло оно и последующіе годы! чахоточная и совсем недаром писавшая от мужского имени Гиппіус, одержимый манієй величія Брюсов, автор "Тихих мальчиков", потом «Мелкаго беса», иначе говоря патологического Передонова, певец смерти и «отца» своего дьявола, каменно неподвижный и молчаливый Сологуб, – «кирпич в сюртуке», по определению Розанова, буйный «мистический анархист» Чулков, изступленный Волынскій, малорослый и страшный своей огромной головой и стоячими черными глазами Минскій; у Горького была болезненная страсть к изломанному языку («вот я вам приволок сюю книжицу, черти лиловые»), псевдонимы, под которыми он писал в молодости, – нечто редкое по напыщенности, по какой-то низкопробно едкой ироніі над чем-то: Іегудійл Хламида, Некто, Икс, Антином Исходящий, Самокритик Словотеков... Горькій оставил после себя невероятное количество своих портретов всех возрастов вплоть до старости просто поразительных по количеству актерских по? и выражений, то простодушных и задумчивых, то наглых, то катаржно угрюмых, то с напряженными, поднятыми изо всех сил плечами и втянутой в них шеей, в неистовой позе площадного агитатора; он был совершенно неистощимый говорун с несметными по количеству и разнообразию гримасами, то опять таки страшно мрачными, то йдіотски радостными, с закатываніем под самые волосы бровей и крупных лобных складок старого широкоскулого монгола; он вообще ни минуты не мог побывать на людях без актерства, без фразерства, то нарочито без всякой меры грубаго, то романтически восторженного, без нелепой неумеренности восторгов («я счастлив, Пришвин, что живу с вами на одной планете!») и всякой прочей гомерической лжи; был ненормально глуп в своих обличительных писаніях: «Это – город, это – Нью-Йорк. Издали город кажется огромной челюстью с неровными черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающей ожирением. Войдя в него, чувствуешь, что попал в желудок из камня и железа; улицы его – это скользкое, алчное горло, по которому плывут темные куски пищи, живые люди; вагоны городской железной дороги огромные черви; локомотивы – жирные утки...» Он был чудовищный графоман: в огромном томе какого-то Балухатова, изданном вскоре после смерти Горького в Москве под заглавіем: «Литературная работа Горького», сказано;

«Мы еще не имеем, точного представлія о полном объеме всей писательской деятельности Горького: пока нами зарегистрировано 1145 художественных и публицистических произведений его...» А недавно я прочел» московском «Огоньке» следующее: «Величайший в мире пролетарский писатель Горький намеревался подарить нам еще много, много замечательных творений; и нет сомнения, что он сделал бы это, если бы подлые враги нашего народа, троцкисты и бухаринцы, не оборвали его чудесной жизни; около восьми тысяч ценнейших рукописей и материалов Горького бережно хранятся в архиве писателя при Институте мировой литературы Академии наук СССР»... Таков был Горький. А сколько было еще ненормальных! Цветаева с ея не прекращавшимся всю жизнь ливнем диких слов и звуков в стихах, кончившая свою жизнь петлей после возвращения в советскую Россию; буйнейший пьяница Бальмонт, незадолго до смерти впавший в свирепое эротическое помешательство; морфинист и садистический эротоман Брюсов; запойный трагик Андреев... Про обезьянью неистовства Белаго и говорить нечего, про несчастного Блока – тоже: дед, по отцу

**Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru**  
умер в психіатрическій больниці, отець «со странностями на грани душевной болезни», мать «неоднократно лечилась в больнице для душевнобольных»; у самого Блока была с молодости жестокая цинга, жалобами на которую полны его дневники, так же как и на страданія от вина и женщин, затем «тяжелая психостенія, а незадолго до смерти помраченіе разсудка и воспаленіе сердечных клапанов...» Умственная и душевная неуравновешенность, переменчивость – редкая: «гімназія отталкивала его, по его собственным словам, страшным плебейством, противным его мыслям, манерам и чувствам»; тут он готовится в актеры, в первые университетские годы подражает Жуковскому и Фету, пишет о любви «среди розовых утр; алых зорь, золотистых долин, цветастых лугов»; затем он подражатель В. Соловьева, друг и соратник Белаго, возглавлявшаго мистический кружок аргонавтов»; в 1903 году «идет в толпе с красным знаменем, однако вскоре совершенно охладевает к революції...» В первую великую войну он устраивается на фронте чем то вроде земгусара, приезжая в Петербург, говорит Гиппіус то о том, как на войне «весело», то совсем другое – как там скучно, гадко, иногда уверяет ее, что «всех жидов надо повесить»...

(Последнія строки взяты мною из «Синей книги» Гиппіус, из ея петербургских дневников, а все прочее относительно Блока – из біографических и автобіографических сведеній о нем).

Приступы кощунства, богохульства были у Блока тоже болезненны. В так называемом Ленинграде издавался в конце двадцатых годов, «при ближайшем участии Горькаго, Замятіна и Чуковскаго» журнал «Русский Современник», преследовавшій, как сказано было в его программе, «только культурныя цели». И вот, в третьей книге этого культурного журнала были напечатаны некоторые «драгоценные литературные материали», среди же них нечто особенно драгоценное, а именно:

«Замыслы, наброски и заметки Александра Александровича Блока, извлеченные из его посмертных рукописей».

И впрямь – среди этих «замыслов» есть кое что замечательное, особенно один замысел о Христе. Сам Горькій относился к Христу тоже не совсем почтительно, называл Его, ухмыляясь, «большим педантом». Но в этом отношениі куда же было Горькому до Демьяна Бедного, до Маяковского и, увы, до Блока! Оказывается, что Блок замышлял написать не более, не менее, как «Пьесу из жизни Іисуса». И вот что было в проспект» этой «пьесы»:

- Жара. Кактусы жирные. Дурак Симон с отвисшой губой удят рыбу.
- Входит Іисус: не мужчина и не женщина.
- Фома (неверный!) – контролирует.
- Пришлось уверовать: заставили и надули.
- Вложил персты и распространителем стал.
- А распространять заставили инквизицію, папство, икающих попов – и Учредилку...

Поверят ли почитатели «великаго поэта», в эти чудовищный низости? А меж тем я выписываю буквально. Но дальше:

- Андрей Первозванный. Слоняется, не стоит па месте.
- Апостолы воруют для Іисуса вишни, пшеницу.
- Мать говорит сыну: неприлично. Брак в Кане Галилейской.
- Апостол брякнет, а Іисус разовьет.
- Нагорная проповедь: митинг.
- Власти беспокоятся. Іисуса арестовали. Ученики, конечно, улизнули...

А вот заключеніе конспекта этой «Пьесы»:

- Нужно, чтобы люба почитала Ренана и по карте отметила это маленькое место, где

он ходил...

«Он» написан, конечно, с маленькой буквы...

В этой нелепости («а распространять заставили икающих попов – и Учредилку»), в богохульстве чисто клиническом (чего стоит одна эта строка, – про апостола Петра, – «дурак Симон с отвисшей губой»), есть, разумеется нечто и от заразы, что была в воздухе того времени. Богохульство, кощунство, одно из главных свойств революционных времен, началось еще с самыми первыми дуновеннями «ветра из пустыни». Сологуб уже написал тогда «Литургію Мне», то есть себе самому, молился дьяволу: «Отец мой дьявол!» и сам притворялся дьяволом. В петербургской «Бродячей Собаке», где Ахматова сказала: «Все мы грешницы тут, все блудницы», поставлено было однажды «Бегство Богоматери с Младенцем в Египет», некое «литургическое действие», для которого Кузьмин написал слова, Сац сочинил музыку, а Судейкин придумал декорацию, костюмы, – «действие», в котором поэт Потемкин изображал осла, шел, согнувшись под прямым углом, опираясь на два костиля, и нес на своей спине супругу Судейкина в роли Богоматери. И в этой «Собаке» уже сидело не мало и будущих «большевиков»: Алексей Толстой, тогда еще молодой, крупный, мордастый, являлся туда важным барином, помещиком, в енотовой шубе, в бобровой шапке или в цилиндре, стриженный а ля мужик; Блок приходил с каменным, непроницаемым лицом красавца и поэта; Маяковский в желтой кофте, с глазами сплошь темными, нагло и мрачно вызывающими, со скжатыми, извилистыми, жабыми губами.... Тут надо кстати сказать, что умер Кузьмин, – уже при большевиках, – будто бы так: с Евангелем в одной руке и с «Декамероном» Боккачіо в другой.

При большевиках всяческое кощунственное непотребство расцвело уже махровым цветом. Мне писали из Москвы еще лет тридцать тому назад:

«Стою в тесной толпе в трамвайном вагоне, кругом улыбающаяся рожи, «народ-богоносец» Достоевского любуется на картинки в журнальчике «Безбожник»: там изображено, как глупые бабы «причщаются», – едят кишки Христа, – изображен Бог Саваоф в пенсне, хмуро читающей что то Демьяна Бедного...»

Вероятно, это был «Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна», бывшаго много лет одним из самых знатных вельмож, богачей и скотоподобных холуев советской Москвы.

Среди наиболее мерзких богохульников был еще Бабель. Когда-то существовавшая в эмиграции эсеровская газета «Дни» разбирала собрание рассказов этого Бабеля и нашла, что «его творчество не равноценно»: «Бабель обладает интересным бытовым языком, без натяжки стилизует иногда целые страницы – например, в рассказе «Сашка-Христос». Есть кроме того вещи, на которых нет отпечатка ни революций, ни революционного быта, как, например, в рассказе «Иисусов грех»... К сожалению, говорила дальше газета, – хотя я не совсем понимал; о чем тут сожалеть? – «к сожалению, особо характерные места этого рассказа нельзя привести за предельной грубостью выражений, а в целом рассказ, думается, не имеет себе равнаго даже в антирелигиозной советской литературе по возмутительному тону и гнусности содержания: действующая его лица – Бог, Ангел и баба Арина, служащая в номерах и задавившая в кровати Ангела, даннаго ей Богом вместо мужа, чтобы не так часто рожала...» Это был приговор, довольно суровый, хотя несколько и несправедливый, ибо «революционный отпечаток в этой гнусности, конечно, был. Я, со своей стороны, вспоминал тогда еще один рассказ Бабеля, в котором говорилось, между прочим, о статуе Богоматери в каком-то католическом костеле, но тотчас старался не думать о нем: тут гнусность, с которой было сказано о грудях Ея, заслуживала уже плахи, тем более, что Бабель был, кажется, вполне здоров, нормален в обычном смысле этих слов. А вот в числе ненормальных вспоминается еще некий Хлебников.

Хлебникова, имя которого было Виктор, хотя он переменил его на какого-то Велимира, я иногда встречал еще до революции (до февральской). Это был довольно мрачный малый, молчаливый, не то хмельной, не то притворявшийся хмельным. Теперь не только в России, но иногда и в эмиграции говорят и о его гениальности. Это, конечно, тоже очень глупо, но элементарная залежь какого то дикого художественного таланта были у него. Он слыл известным футуристом, кроме того и сумасшедшим. Однако был ли впрямь сумасшедший? Нормальным он, конечно, никак не был, но все же играл роль сумасшедшего, спекулировал своим сумасшествием. В двадцатых годах, среди всяких прочих литературных и житейских известий из Москвы, я получил однажды письмо и о нем. Вот что было в этом письме:

**Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru**

Когда Хлебников умер, о нем в Москве писали без конца, читали лекцій, называли его гением. На одном собраніи, посвященном памяти Хлебникова, его друг П. читал о нем свои воспоминанія. Он говорил, что давно считал Хлебникова величайшим человеком, давно собирался с ним познакомиться, поближе узнать его великую душу, помочь ему материально: Хлебников, «благодаря своей житейской беспечности», крайне нуждался. Увы, все попытки сблизиться с Хлебниковым оставались тщетны: «Хлебников был неприступен». Но вот однажды П. удалось таки вызвать Хлебникова к телефону. – «Я стал звать его к себе, Хлебников ответил, что придет, но только попозднее, так как сейчас он блуждает среди гор, в вечных снегах, между Лубянкой и Никольской. А затем слышу стук в дверь, отворяю и вижу: Хлебников!» – На другой день П. перевез Хлебникова к себе, и Хлебников тотчас же стал стаскивать с кровати в своей комнате одеяло, подушки, простыни, матрац и укладывать все это на письменный стол, затем влез на него совсем голый и стал писать свою книгу «Доски Судьбы», где главное – «мистическое число 317». Грязен и неряшлив он был до такой степени, что комната вскоре превратилась в хлев, и хозяйка выгнала с квартиры и его и П. Хлебников был однако удачлив – его пріютил у себя какой-то лабазник, который чрезвычайно заинтересовался «Досками Судьбы». Прожив у него неделя две, Хлебников стал говорить, что ему для этой книги необходимо побывать в астраханских степях. Лабазник дал ему денег на билет, и Хлебников в восторге помчался на вокзал. Но на вокзале его будто бы обокрали. Лабазнику опять пришлось раскошелиться, и Хлебников наконец уехал. Через некоторое время из Астрахани получилось письмо от какой-то женщины, которая умоляла П. немедленно приехать за Хлебниковым: иначе, писала она, Хлебников погибнет. П., разумеется, полетел в Астрахань с первым же поездом. Приехав туда ночью, нашел Хлебникова и тот тотчас повел его за город, в степь, а в степи стал говорить; что ему «удалось снести с со всеми 317ю Председателями», что это великая важность для всего мира, ч так ударили П. кулаком в голову, что поверг его в обморок. Придя в себя, П. с трудом побрел в город. Здесь он после долгих поисков, уже совсем поздней ночью, нашел Хлебникова в каком-то кафе. Увидев П., Хлебников опять бросился на него с кулаками: – «Негодяй! Как ты смел воскреснуть; Ты должен был умереть! Я здесь уже снесся по всемирному радио со всеми Председателями и избран ими Председателем Земного Шара!» – С этих пор отношения между нами испортились и мы разошлись, говорил П. Но Хлебников был не дурак: возвратясь в Москву, вскоре нашел себе нового мецената, известного булочника Филиппова, который стал его содержать, исполняя все его прихоти и Хлебников поселился, по словам П., в роскошном номере отеля «Люкс» на Тверской и дверь свою украсил снаружи цветистым самодельным плакатом: на этом плакате было нарисовано солнце на лапках, а внизу стояла подпись:

«Председатель Земного Шара. Принимает от двенадцати дня до половины двенадцатого дня».

Очень лубочная игра в помешанного. А за тем помешанный разразился, в угоду большевикам, виршами вполне разумными и выгодными:

Нет житья от господ!  
Одолели, одолели!  
Нас заели!  
Знатных старух,  
Стариков со звездой  
Нагишом бы погнать,  
Все господское стадо,  
Что украинскій скот,  
Толстых, седых  
Молодых и худых,  
Нагишом бы все снять  
И сановное стадо  
И сановную знать  
Голяком бы погнать,  
Чтобы бич бы свистал,  
В звездах гром громыхал!  
Где пощада? Где пощада?  
В одной паре быком  
Стариков со звездой  
Повести голяком  
И погнать босиком,  
Пастухи чтобы шли  
Со зведенным курком.

Одолели! Одолели!  
Околели! Околели!  
И дальше – от лица прачки:

Я бы на живодерню  
На одной веревке  
Всех господ привела  
да потом по горлу  
Провела, провела,  
Я белье мое всполосну, всполосну!  
А потом господ  
Полосну, полосну!  
Крови лужица!  
В глазах кружится!  
У Блока, в «Двенадцати», тоже есть такое:

Уж я времячко  
Проведу, проведу...  
Уж я темечко  
Почешу, почешу...  
Уж я ножичком  
Полосну, полосну!

Очень похоже па Хлебникова? Но ведь все революціи, все их «лозунги» однообразны до пошлости: один из главных – режь попов, режь господ! Так писал, например, еще Рылеев:

Первый нож – на бояр, на вельмож,  
Второй нож – на попов, на святош!

И вот что надо отметить: какой «высокій стиль» был в речах политиков, в революціонных призывах поэтов во время первой революції, затем перед началом второй! Был, например, в Москве поэт Сергей Соколов, который, конечно, не удовольствовался такой птицей, как сокол, назвал себя Кречетовым, а своему издательству дал название «Гриф», стихи же писал в таком роде:

Возстань! Карай врагов страны,  
Как острый серп срезает колос  
Вперед! Туда, где шум и крик,  
Где плещут красные знамена!  
И когда горячей крови  
Ширь полей вспоит волна,  
Всколосись в зеленої нови,  
Возрожденная страна!

Кровь и новь в подобных стихах, конечно, неизбежны. И еще пример: революционные

стихи Максимилиана Волошина:

Народу русскому: я – грозный Ангел Мщенья!

Я в раны черныя, в распаханную новь

Кидаю семена! Прошли века терпенья,

И голос мой – набат! Хоругвь моя как кровь!

Зато, когда революція осуществляется, «высокій стиль» сменяется самым низким, – взять хоть то, что я выписал из «Песней мстителя». С воцарением же большевиков

лиры поэтов зазвучали уж совсем по хамски:

Сорвали мы корону!  
Со старого Кремля!  
За заборами низкорослыми  
Гребем мы огненными веслами!  
Это ли не чудо: низкорослые заборы. И дальше:

Взяли мы в шапке  
Нахально сели,  
Ногу на ногу задрав!  
Иисуса – на крест, а Варраву  
Под руки – я по Тверскому!

Я был в Петербурге в последний раз, – в последній раз в жизни! – в начале апреля 17-го года, в дни проезда Ленина. Я был тогда, между прочим, на открытії выставки финских картин. Там собрался «весь Петербург» во главе с нашими тогдашними министрами Временного Правительства, знаменитыми думскими депутатами

и говорились финнам истерически подобострастныя речи. А затем я присутствовал на банкете в честь финнов. И, Бог мой, до чего ладно и многозначительно связалось все то, что я видел тогда в Петербурге, с тем гомерическим безобразием, в которое вылился банкет! Собрались на него все те же, весь «цвет русской интеллигенції», то есть знаменитые художники, артисты, писатели, общественные деятели, министры, депутаты и один высокий иностранный представитель, именно посол франції. по надо всеми возобладал Маяковскій. Я сидел за ужином с Горьким и финским художником Галленом. И начал Маяковскій с того, что вдруг подошел к нам, вдвинул стул между нами и стал есть с наших тарелок и шить из наших бокалов; Галлен глядел на него во все глаза – так, как глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы ее, например, ввели в эту банкетную залу. Горькій хототал. Я отодвинулся.

– Вы меня очень ненавидите? – весело спросил меня Маяковскій.

Я ответил, что нет: «Слишком много чести было бы вам!» Он раскрыл свой корытообразный рот, чтобы сказать что-то еще, но тут поднялся для официального тоста Милюков, наш тогдашній министр иностранных дел, и Маяковскій кинулся к нему, к середине стола. А там вскочил на стул и так похабно заорал что-то, что Милюков опешил. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил: «Господа!» Но Маяковскій заорал пуще прежняго. И Милюков развел руками и сел. Но тут поднялся французский посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уж перед ним-то русский хулиган спасует. Как бы не так! Маяковскій мгновенно заглушил его еще более зычным ревом. Но мало того, тотчас началось дикое и безмысленное неистовство и в зале: сподвижники Маяковского тоже заорали и стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать. И вдруг все покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожаго на бритаго моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, он, очевидно, потрясенный до глубины души этим излишеством свинства, стал что есть силы и буквально со слезами кричать одно из русских слов, ему известных:

– Много! Многоо! Многоо!

Одноглазый пещерный Полифем, к которому попал Одиссей в своих странствіях, намеревался сожрать Одиссея. Маяковского еще в гимназии пророчески прозвали Идіотом Полифемовичем. Маяковскій и прочие тоже были довольно прохорливы и весьма сильны своим одноглазием. Маяковские казались некоторое время только площадными шутами. Но не даром Маяковскій назвал себя футуристом, то есть человеком будущаго: он уже чуял, что полифемское будущее принадлежит несомненно им, Маяковским, и что они, Маяковские, вскоре уж навсегда заткнут рот всем прочим трибунам еще великолепнее, чем сделал он один на пиру в честь Финляндіи...

«Много»! Да, уж слишком много дала нам судьба «великих, исторических» событий. Слишком поздно родился я. Родись я раньше, не таковы были бы мои писательскія воспоминанія. Не пришлось бы мне пережить и то, что так нераздельно с ними: 1905 год, потом первую міровую войну, вслед за єю 17-ый год: и его продолжение, Ленина, Сталина, Гитлера... Как не позавидовать нашему праотцу Ною! Всего один потоп выпал на долю ему. И какой прочный, уютный, теплый ковчег был у него и какое богатое продовольствіе: целых семь пар чистых и две нары нечистых, а все-таки очень съедобных тварей. И вестник міра, благоденствія, голубь с оливковой ветвью в клюве, не обманул его, – не то что нынешніе голуби («товарища» Пикассо). И отлично сошла его высадка на Аракате, и прекрасно закусил он и выпил и заснул сном праведника, пригретый ясным солнцем, на первозданно чистом воздухе новой вселенской весны, в міре, лишенном всей допотопной скверны, – не то что наш мір, возвратившійся к допотопному! Вышла, правда, у Ноя нехорошая исторія с сыном Хамом. да ведь на то и был он Хам. А главное: ведь на весь мір был тогда лишь один, лишь единственный Хам. А теперь?

Весной того же семнадцатаго года я видел князя Кропоткина, столь ужасно погибшаго в полифемском царстве Ленина.

Кропоткин принадлежал к знатной русской аристократіи, в молодости был одним из наиболее приближенных к императору Александру Второму, затем бежал в Англію, где и прожил до русской февральской революції, до весны 1917 года. Вот тогда я и познакомился с ним в Москве и весьма был тронут и удивлен при этом знакомстве: человек, столь знаменитый на всю Европу, – знаменитый теоретик анархизма и автор «Записок революціонера», знаменитый еще и как географ, путешественник и исследователь восточной Сибири и полярных областей, – оказался маленьkim

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru  
старичком с розовым румянцем на щеках, с легкими, как пух, остатками белых волос, живым и каким-то совершенно очаровательным, младенчески наивным, милым в разговоре в обращенії. Живые, ясные глаза, добрый, доверчивый взгляд, быстрая и мягкая великосветская речь – и это трогательное младенчество...

Он окружен был тогда всеобщим почетом и всяческими заботами о нем, он, революционер, – хотя и весьма мирный, – возвратившійся на родину после стольких лет разлуки с ней, был тогда гордостью февральской революції, наконец-то «освободившей Россію от царизма», его поселили в чьем-то, уже не помню в чьем именно, барском особняке на одной из лучших улиц в дворянской части Москвы. В конце этого года шли собранія на этой квартире Кропоткина «для обсужденія вопроса о созданіи Лиги Федералистов». Конец того года – что уже было тогда в Россії? А вот русскіе интеллигенты собирались и создавали какую-то «Лигу» в том кровавом, сумасшедшем доме, в который уже превратилась тогда вся Россія. Но что «Лига»! Дальше было вот что:

В марте 1918 большевики выгнали его из особняка, реквизировали особняк для своих нужд. Кропоткин покорно перебрался на какую-то другую квартиру – и стал добиваться свиданія с Лениным: в преинавнейшей надежде заставить его раскаяться в том чудовищном терроре, который уже шел тогда в Россії, и наконец добился свиданія. Он почему-то оказался «в добрых отношеніях» с одним из приближенных Ленина, с Бонч-Бруевичем, и вот у него и состоялось в Кремле это свиданіе. Совершенно непонятно: как мог Кропоткин быть «в добрых отношеніях» с этим редким даже среди большевиков негодяем? Оказывается, все-таки был. И мало того: пытался повернуть деяния Ленина «на путь гуманности». А потерпев неудачу, «разочаровался» в Ленине говорил о своем свиданіи с ним, разводя руками:

– Я понял, что убеждать этого человека в чем бы то ни было совершенно напрасно! Я упрекал его, что он, за покушение на него, допустил убить две с половиной тысячи невинных людей. Но оказалось, что это не произвело на его никакого впечатления...

А затем, когда большевики согнали князя анархиста и с другой квартиры, «оказалось», что надо (переселяться из Москвы в уездный город Дмитров, а там существовать в столь пещерных условіях, какія и не снились никакому анархисту. Там Кропоткин и кончил свою дни, пережив истинно миллион терзаній; муки от голода, муки от цинги, муки от холода, муки за старую княгиню, изнемогавшую в непрерывных заботах и хлопотах о куске гнилого хлеба... Старый, маленькій, несчастный князь мечтал раздобыть себе валенки. Но так и не раздобыл, – только напрасно истратил несколько месяцев, – месяцев! – на получение ордера на эти валенки. А вечера он проводил при свете лучины, дописывая свое посмертное произведение «Об этике».

Можно ли придумать что-нибудь страшнее? Чуть ни вся жизнь, жизнь человека, бывшаго когда-то в особой близости к Александру Второму, была ухлопана на революционные мечты, на грэзы об анархическом рае, – это среди нас-то, существ, еще не совсем твердо научившихся ходить на задних лапах! – и кончилась смертью в холоде, в голоде, при дымной лучине, среди наконец-то осуществившейся революції, над рукописью о человеческой этике.

#### РАХМАНИНОВ

При моей первой встрече с ним в Ялте произошло между нами нечто подобное тому, что бывало только в романтические годы молодости Герцена, Тургенева, когда люди могли проводить целые ночи в разговорах о «прекрасном, вечном, о высоким искусстве, впоследствии, до его последняго отъезда в Америку, встречались мы с ним от времени до времени очень дружески, по все же не так, как в ту встречу, когда, проговорив чуть не всю ночь на берегу моря, он обнял меня и сказал; «Будем друзьями навсегда!» Уж очень различны были наши жизненные пути, судьба все разъединяла нас, встречи наши были всегда случайны, чаще всего недолги и была, мне кажется, вообще большая сдержанность в характере моего высокого друга. А в ту ночь мы были еще молоды, были далеки от сдержанности, как-то внезапно сблизились чуть не с первых слов, которыми обменялись в большом обществе, собравшемся, уже не помню почему, на веселый ужин в лучшей ялтинской гостинице «Россія». Мы за ужином сидели рядом, пили шампанское Абрау-Дюрсо, потом вышли на террасу, продолжая разговор о том паденіи прозы и поэзії» что совершалось в то время в русской литературе, незаметно спустились во двор гостиницы, потом на набережную, ушли на мол, – было уже поздно, нигде не было ни души, – сели на

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru  
какіє-то канаты, дыша их дегтярным запахом и этой какой-то совсем особой свежестью, что присуща только черноморской воде, и говорили, говорили все горячей и радостнее уже о том чудесном, что вспоминалось нам из Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Майкова... Тут он взволнованно, медленно стал читать то стихотвореніе Майкова, на которое он, может быть, уже написал тогда или только мечтал написать музыку:

Я в гроте ждал тебя в урочный час.  
Но день померк; главой качая сонной,  
Заснули тополи, умолкли гальціоны:  
Напрасно! Месяц встал, сребрился и угас;  
Редела ночь; любовница Кефала,  
Облокотясь на рдяныя врата  
Младого дня, из кос своих роняла  
Златые зерна перлов и опала  
На синія долини и леса...  
РЕПІН

Из художников я встречался с братьями Васнецовыми, с Нестеровым, с Репиным... Нестеров хотел написать, меня за мою худобу святым, в том роде, как он их писал; я был польщен, но уклонился, – увидать себя в образе святого не всякий согласится. Репин тоже удостоил меня – он однажды, когда я был в Петербурге с моим другом художником Нилусом, пригласил меня ездить к нему на дачу в Финляндіи, позировать ему для портрета. «Слыши от товарищій по кисти, – писал он мне, – слышу милую весть, что пріехал Нилус, наш художник прекрасный, – ах, если бы мне его краски! – а с ним и вы, прекрасный писатель, портрет котораго мечтаю написать: пріезжайте, милый, сковоримся и засядем за работу». Я с радостью поспешил к нему: ведь какая это была честь – быть написанным Репиным! И вот пріезжаю, дивное утро, солнце и жестокій мороз, двор дачи Репина, помешавшагося в ту пору на вегетаріанстве и на чистом воздухе, в глубоких снегах, а в доме – все окна настежь; Репин встречает меня в валенках, в шубе, в меховой шапке, целует, обнимает, ведет в свою мастерскую, где тоже мороз, как на дворе, и говорит: «Вот тут а и буду вас писать по утрам, а потом будем завтракать как Господь Бог велел: травкой, дорогой мой, травкой! Вы увидите, как это очищает и тело, и душу, и даже проклятый табак скоро бросите». Я стал низко кланяться, горячо благодарить, забормотал, что завтра же пріеду, но что сейчас должен немедля спешить назад, на вокзал, – страшно срочная дела в Петербурге. И сейчас же вновь расцеловался с хозяином и пустился со всех ног на вокзал, а там кинулся к буфету, к водке, жадно закурил, вскочил в вагон, а из Петербурга на другой день послал телеграмму: дорогой Илья Ефимович, мол, в полном отчаянні, срочно вызван в Москву, уезжаю нынче же с первым поездом...

#### ДЖЕРОМ ДЖЕРОМ

Кто из русских не знает его имени, не читал его? Но не думаю, чтобы многие russkie могли похвальиться знакомством с ним. Два, три человека разве – и в том числе я.

Я в Англії до 1926 года не бывал. Но в этом году лондонскій R. E. N. Club вздумал пригласить меня на несколько дней в Лондон, устроить по этому поводу литературный банкет, показать меня англійским писателям и некоторым представителям англійского общества. Хлопоты на счет визы и расходы по поездке клуб взял па себя – и вот я в Лондоне.

Возили меня в очень разнообразные дома, но в каждом из них я непременно претерпевал что-нибудь достойное Джерома. Чего стоят одни обеды, во время которых тебя жжет с одной стороны пылающей, как геенна огненная, камин, а с другой – полярный холод!

Перед самым отъездом из Лондона я был в одном доме, куда собралось особенно много народа. Было очень оживленно и очень пріятно, только так тесно, что стало даже жарко, и милые хозяева вдруг распахнули все окна настежь, не взирая на то, что за ними валил снег. Я шутя закричал от страха и кинулся по лестнице спасаться в верхній этаж, где тоже было много гостей, и на бегу услыхал за собой какія то радостныя восклицанія: неожиданно явился Джером Джером.

Он медленно поднялся по лестнице, медленно вошел в комнату среди почтительно разступившейся публики и, здороваясь со знакомыми, вопросительно обвел комнату

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru  
глазами. Так как оказалось, что он пришел только затем, чтобы познакомиться со мной, то его подвели ко мне. Он старомодно и как-то простонародно подал мне большую, толстую руку и маленькими голубыми глазами, в которых играл живой, веселый огонек, пристально поглядел мне в лицо.

– Очень рад, очень рад, – сказал он. – Я теперь, как младенец, по вечерам никуда не выхожу, в десять часов уже в постельку! Но вот разрешил себе маленькое отступление от правил, пришел на минутку – посмотреть какой вы, пожать вашу руку...

Это был плотный, очень крепкий и приземистый старик с красным и широким бритым лицом, в просторном и длиннополом черном сюртуке, в крахмальной рубашке с отложным воротничком, под которым скромно лежала завязанная бантиком узкая черная ленточка галстуха, – настоящий старозаветный коммерсант или пастор.

Через несколько минут он действительно ушел и навсегда оставил во мне впечатление чего-то очень добротного и очень приятного, но уж никак не юмориста, не писателя со всемирной славой.

#### ТОЛСТОЙ

Я чуть не с детства жил в восхищении им. Мальчиком я уже имел некоторое «представление» о нем, но не из чтения его книг, а по разговорам у нас в доме. Между прочим, помню, что отец нередко смеялся, рассказывая, как читают «Войну и Мир» наши некоторые соседи помещики: один читает только «Войну», а другой только «Мир», то есть один, читая, пропускает все, что касается войны, а другой – наоборот. В отрочестве чувства к Толстому были у меня уже не простыя. Отец говорил:

– Я его немного знал. (Во время севастопольской кампании встречал, играл с ним в карты в осажденном Севастополе...)

И, помню, я на него смотрел с восторженным удивлением; живого Толстого видел!

С той поры писатели были для меня уже существами какого-то совсем особаго рода, к которым я испытывал какое-то непередаваемое чувство, котораго я и до сих пор не умею определить, как не умею сказать, как, когда и почему я сам стал писателем. Ответить на это для меня так же невозможно, как на то, с каких пор и как вообще я стал тем, что я есть. Когда же (как-то само собою) решилось, что мне надлежит быть только писателем, моей второй жизнью стала жизнь в том мире, где поэты, писатели. Не помню, когда именно начал я читать Толстого и как случилось, что я выделил его из прочих. Бывает, что человек открывает что-нибудь прекрасное и дорогое для него внезапно, с изумлением. Этого со мной по отношению к Толстому не было, такой минуты я не помню. Вообще то прекрасное, что я встречал в детстве, отрочестве, молодости, кажется, никогда не удивляло меня, – напротив, у меня было такое чувство, точно я знал его уже давно, так что мне оставалось только радоваться встрече с ним.

А затем долгие годы я был по настоящему влюблён в него, в тот мной самим созданный образ; который томил меня мечтой увидеть его наяву. Мечта эта была неотступная, но как я мог тогда осуществить ее? Поехать в Ясную Поляну? Но с какой стати, с какими глазами? Раз я не выдержал, в один прекрасный летний день внезапно оседлал своего верхового киргиза и закатился на Ефремов, в сторону Ясной Поляны, до которой от нас было не больше ста верст. Но, доскаакав до Ефремова, струсили, решили обдумать дело серьезнее, переночевать в Ефремове – и всю ночь не мог заснуть от волнения, от поминутной смены решений, ехать или не ехать, скитался всю ночь по городу и так устал, что, зайдя на разсвете в городской сад, мертвым сном заснул на первой попавшейся скамейке, а проснувшись, и совсем пропретрзился, подумал еще немного – и поскакал назад, домой, где работники сказали мне:

– Эх, барчук, барчук, и как только ухитрились вы так обработать киргиза за одни сутки; За кем это вы гонялись?

После того я напрасно «гонялся» за Толстым еще несколько лет.

В молодости, плененный мечтами о чистой, здоровой и доброй жизни среди природы, собственными трудами, в простой одежде, в братской дружбе не только со всеми

бедними и угнетенными людьми, но и со всем растительным и животным міром, главное же опять таки от влюблённости в Толстого, как художника, я стал толстовцем, – конечно, не без тайной надежды, что это даст мне наконец уже как бы несколько законное право увидеть его и даже, может быть, войти в число людей, приближенных к нему. И вот, началось мое толстовское «послушаніе».

Я жил тогда в Полтаве, где почему-то оказалось не мало толстовцев, с которыми я вскоре и сблизился. В общем это был совершенно несносный народ; но я терпел. Первый кого я узнал, был некто Клопський, человек довольно известный в то время в некоторых кругах и даже попавший в герои нашумевшей тогда повести Коронина «Учитель жизни». Это был высокий, худой человек в высоких сапогах и в блузке, с узким серым ликом и бирюзовыми глазами, хитрый нахал и плут, неутомимый болтун, вечно всех поучавшийся, наставлявший, любивший ошеломлять неожиданными выходками, дерзостями и вообще всей той манерой вести себя, при помощи которой он довольно сытно и весело шатался из города в город. Среди полтавских толстовцев был доктор Александр Александрович Волкенштейн, по происхождение и по натуре большой барин, кое в чем походивший на Стиву Облонского. И вот, явившись в Полтаву, Клопський первым делом отправляется к Волкенштейну и очень скоро попадает через него в полтавские салоны, куда Волкенштейн проводит его и с «идейной» целью, как проповедника, и просто для забавы, как курьезную фигуру, и где Клопський говорит, например, такія вещи:

– Да, да, вижу, как вы тут живете: лжете, да конфетами закусываете, да идолам своим по церквам, которые уже давно пора на воздух взорвать, молебны служите! И когда только вообще кончатся все те нелепости и мерзости, в которых тонет мір? Вот, скажем, ехал я сюда из Харькова; приходит человек, называемый почему-то кондуктором, и говорит: «ваш билет». Я его спрашиваю: а что это значит, какой собственно билет? Отвечает: но билет, по которому вы едете? А я ему опять свое: позвольте, я не по билету, а по рельсам еду. – Значит, говорит, у вас билета нету? – Конечно, говорю, нету. – В таком случае мы вас на следующей станції высадим. – Прекрасно, говорю, это ваше дело, а мое дело ехать. На следующей станції действительно являются: пожалуйте выходить. Но зачем же, говорю, выходить, мне и тут хорошо. – Значит, вы выходить не желаете? – Разумеется, нет. – Тогда мы вас выведем. – Выведете? Но я не пойду. – Тогда вытащим, вынесем. – Что же; выносите, это ваше дело. – И вот, меня, действительно, тащут: несут на руках, на диво всей почтенной публике, два рослых бездельника, два мужика, которые с гораздо большей пользой могли бы землю пахать...

Таков был этот в некотором роде знаменитый Клопський. Прочіе были не знамениты, но тоже хороши. Это были братя Д., севшие на землю под Полтавой, люди необыкновенно скучные, тупые и самомнительные, хотя с виду весьма смиренные, затем некто Леонтьев, щуплый и маленький молодой человек болезненной, но редкой красоты, бывший паж, тоже мучивший себя мужицким трудом и тоже лгавший и себе, и другим, что он очень счастлив этим, затем громадный еврей, похожий на матерого русского мужика, ставший впоследствіи известный под именем Теноромо, «человек, державшийся всегда с необыкновенной важностью и снисходительностью к простым смертным, нестерпимый ритор, софист, занимавшийся бондарным ремеслом. К нему-то под начало и попал я. Он-то и был мой главный наставник, как в «ученії», так и в жизни трудами рук своих: я был у него подмастерьем, учился набивать обручи. Для чего мне нужны были эти обручи? Для того опять таки, что они как-то соединяли меня с Толстым, давали мне тайную надежду когда-нибудь увидеть его, войти в близость с ним. И, к великому моему счастью, надежда эта вскоре совершенно неожиданно оправдалась. Вскоре вся братія смотрела на меня уже как на своего, и Волкенштейн – это было в самом конце девяносто третьего года – вдруг пригласил меня ехать с ним сперва к «братьям» в Харьковскую губернію, к мужикам села Хилково, – принадлежавшего известному толстовцу князю Хилкову, – а затем в Москву, к самому Толстому.

Трудное это было путешествие. ехали мы в третьем классе, с пересадками, все норовя попадать в вагоны наиболее простонародные, ели «безубойное», то есть чорт знает что, хотя Волкенштейн иногда и не выдерживал, вдруг бежал к буфету и с страшной жадностью глотал одну за другой две-три рюмки водки, закусывая и обжигаясь пирожками с мясом, а потом пресерьезно говорил мне:

– Я опять дал волю своей похоти и очень страдаю от этого, но все же борюсь с собой и все же знаю, что не пирожки владеют мной, а я ими: я не раб их, хочу – ем, хочу – не ем...

Трудно было ехать потому больше всего» что я сгорал от нетерпенія поскорей попасть в Москву, нам же, видите ли, непременно надо было ехать с плохими поездами, а кроме того пожить с хилковскими «братьями», войти в личное общеніе с ними и «укрепить» и себя и их этим общеніем на путях «доброй» жизни. Мы так и сделали – пожили у хилковских мужиков, кажется, дня три или четыре, и я возненавидел за эти дни этих богатых, благочестивых, благих на виде мужиков, ночевки в их избах, их пироги с начинкой из картофеля, их псалмопенія, их рассказы про их непрестанную и лютую борьбу «с попами и начальниками» и буквоецкіе споры о Писанії истинно всеми силами души. Наконец, первого января, мы тронулись дальше. Помню, я проснулся в тот день с такой радостью, что совсем забылся и брякнул: «С новым годом, Александр Александрович!» – за что и получил от Александра Александровича жесточайшій нагоняй: что это значит – новый год, понимаю ли я, какую старую безмыслицу повторяю я? Однако не до того мне было тогда. Я слушал и думал: прекрасно, прекрасно, все это сущій вздор, – завтра вечером мы будем в Москве, а послезавтра я увижу Толстого... И так оно и случилось.

Волкенштейн кровно обидел меня: поехал к Толстому вечером, сю же минуту после того, как мы добрались до московской гостиницы, а меня с собой не взял: – «Нельзя, нельзя, надо предупредить Льва Николаевича, я предупрежу, предупрежу» – и убежал. А вернулся домой очень поздно и даже ничего не рассказал о споем визите, только поспешно кинул мне: «Я точно живой воды напился!» – при чем я совершенно безошибочно определил по запаху от него, что он, после живой воды, пил еще и шамбертен, затем, очевидно, чтобы доказать, что не он раб шамбертена, а шамбертен его раб. Хорошо было только то, что Толстого он все таки предупредил, хотя я даже и на это мало надеялся: очень милый, но уж очень легкомысленный человек был этот, слегка женоподобный, полнеющій, красивый брюнет. На другой день вечером я, вне себя, побежал наконец в Хамовники.

Как рассказать все последующее? Лунный морозный вечер. Добежал, стою и едва перевожу дыхание. Кругом глушь и тишина, пустой лунный переулок. Передо мной ворота, раскрытая калитка, снежный двор. В глубине, налево, деревянный дом, некоторые окна которого красновато освещены. Еще левее, за домом, сад я над ним тихо играющія разноцветными лучами сказочно прелестная зимня звезды. Да и все вокруг сказочное. Какой особый сад, какой необыкновенный дом, как таинственны и полны значенія эти освещенные окна; ведь за ними – Он, Он! И такая тишина, что слышно, как колотится сердце – и от радости, и от страшной мысли: а не лучше ли поглядеть на этот дом и убежать назад? Отчаянно кидаюсь наконец во двор, на крыльцо дома и звоню.

Тотчас же отворяют – и я вижу лакея в плохеньком фраке и светлую прихожую, теплую, уютную, со множеством шуб на вешалках, среди которых резко выделяется старый полуушбок. Прямо передо мной крутая лестница, крытая красным сукном. Правее, под нею, запертая дверь, за которой слышны гитары и веселые молодые голоса, удивительно беззаботные к тому, что они раздаются в таком совершенно необыкновенном доме.

- Как прикажете доложить?
- Бунин.
- Как-с?
- Бунин.
- Слушаю-с.

И лакей убегает наверх и, к моему удивленно, тотчас же, впріпрыжку, бочком, перехватывая рукой по перилам, сбегает назад:

– Пожалуйте обождать наверх, в залу... А в зале я удивляюсь еще больше: едва вхожу, как в глубине его налево тотчас же, не заставляя меня ждать, открывается маленькая дверка и из-за нея быстро, с неуклюжею ловкостью выдергивает ноги, выныривает, – ибо за этой дверкой было две-три ступеньки в коридор, – кто-то большой, седобородый, слегка как будто кривоногий, в широкой, мешковато сшитой блузе из серой бумаги, в таких же штанах, больше похожих на шаровары, и в тупоносых башмаках. Быстрый, легкий, страшный, остроглазый, с насупленными бровями. И быстро идет прямо на меня, быстро (и немного приседая) подходит ко

мне, протягивает, вернее, ладонью вверх бросает большую руку, забирает в нее всю мою, мягко жмет и неожиданно улыбается очаровательной улыбкой, ласковой и какой-то вместе с тем горестной. Даже как бы слегка жалостной, и я вижу, что эти маленькие глаза вовсе не страшные и не острые, а только по звериному зоркіє. Легкіе и жидкіе остатки серых (на концах слегка завивающихся) волос по крестьянски разделены на прямой пробор, очень большія уши сидят необычайно высоко, бугры бровных дуг надвинуты на глаза, борода, сухая, легкая, неровная, сквозная, позволяет видеть слегка выступающую нижнюю челюсть...

– Бунин? Это с вашим батюшкой я встречался в Крыму? Вы что же, надолго в Москву? Зачем? Ко мне? Молодой писатель? Пишите, пишите, если очень хочется, только помните, что это никак не может быть целью жизни... Садитесь пожалуйста и расскажите мне о себе...

Он и заговорил так же поспешно, как вошел, мгновенно сделав вид, будто не заметил моей полной потерянности, и торопясь вывести меня из нея, отвлечь от нея меня. Что он еще говорил? Все разспрашивал:

– Холосты? Женаты? С женщиной можно жить только как с женой и не оставлять ее никогда... Хотите жить простой, трудовой жизнью? Это хорошо, только не насилийте себя, не делайте себе мундира из нея, во всякой жизни можно быть хорошим человеком...

Мы сидели возле маленького столика. Довольно высокая старинная фаянсовая лампа мягко горела под розовым абажуром. Лицо его было за лампой, в легкой тени, я видел только очень мягкую серую материю его блузы да его крупную руку, к которой мне хотелось припасть с восторженной, истинно сыновней нежностью, да слышал его старческий слегка альтовый голос с характерным звуком несколько выдающейся челюсти... Вдруг зашуршал шелк, я взглянул, вздрогнул, поднялся: – и? гостиной плавно шла крупная и нарядная, сияющая черным шелковым платьем, чудесно убранными волосами и живыми, сплошь темными глазами дама:

– Лон, – сказала она, ты забыл, что тебя ждут...

И он тоже поднялся и с извиняющейся, даже как бы чуть виноватой улыбкой, с поднятыми бровями, глядя мне прямо в лицо своими маленькими глазами, в которых вое была какая-то темная грусть, опять забрал мою руку в свою:

– Ну, до свиданія, до свиданія, дай вам Бог, приходите ко мне, когда опять будете в Москве... Не ждите многого от жизни, лучшаго времени, чем теперь, у вас не будет... Счастья в жизни нет, есть только зарницы его, – цените их, живите ими...

И я ушел, убежал, совершенно вне себя, и провел вполне сумасшедшую ночь, непрерывно видел его во сне с такой разительной яркостью и в такой дикой путанице, что и теперь вспомнить жутко, захватывал себя, просыпаясь, на том, что я что-то бормочу, брежу...

Возвращаясь в Полтаву, я писал ему и получил от него несколько ласковых ответных писем. В одном из них он опять дал мне понять, что не стоит мне так уж стараться быть толстовцем, но я все не унимался: обручи набивать бросил, но стал торговать книжками «Посредника», незаконно, без должного разрешенія продавать их на базарах, на ярмарках, за что и был судим и приговорен сидеть в тюрьме, – от которой меня спас, к моему тогдашнему большому горю, царскій манифест – затем завел книжную лавку, полтавское отделеніе «Посредника», и так запутал счета, что порою примеривался повеситься. В конце концов я эту лавку просто бросил, уехал в Москву, но и там все еще пытался уверить себя, что я брат и единомышленник руководителей этого «Посредника» и тех, что постоянно торчали в его помещенії, наставляя друг друга на счет «доброй» жизни. Там-то я и видел его еще несколько раз. Он туда иногда заходил, вернее, забегал (ибо он ходил страшно легко и быстро) по вечерам и, не снимая полуушубка, сидел час или два, со всех сторон окруженный братієй, серьезно делавшей ему порою такие вопросы: «Лев Николаевич, но что же я должен был бы сделать, если бы па меня напал, например, тигр?» Он в таких случаях только смущенно улыбался и говорил:

– Да какой же тигр, откуда тигр? Я вот за всю жизнь не встретил ни одного тигра...

Вспоминаю еще, как однажды сказал ему, желая сказать пріятное и даже слегка подольститься:

– Вот всюду возникают теперь эти общества трезвости.

Он слегка нахмурился:

– Какія общества?

– Общества трезвости...

– То есть, это когда собираются, чтобы водки не пить? Вздор. Чтобы не пить, не зачем собираться. А уж если собираться, то надо пить. Все вздор, ложь, подмена действія видимостью его...

А на дому я был у него еще только один раз. Меня провели через залу, где я когда-то впервые сидел с ним возле милой розовой лампы, потом в эту маленькую дверку, по ступенькам за ней и по узкому коридору, и я робко стукнул в дверь направо.

– Войдите, – ответил старческий альтовый голос.

И я вошел и увидел низкую, небольшую комнату, тонувшую в сумракі от железного щитка над старинным подсвечником в две свечи, кожаный диван возле стола, на котором стоял этот подсвечник, а потом и его самого, с книжкой в руках. При моем входе он быстро поднялся и неловко, даже, как показалось мне, смущенно бросил ее в угол дивана. Но глаза у меня были меткие, и я увидел, что читал он, то есть перечитывал (и, верно, уже не в первый раз, как делаем это и мы, грешные) свое собственное произведение, только что напечатанное тогда, – «Хозяин и работник». Я, от восхищенія перед этой вещью, имел безтактность издать восторженное восклицаніе. А он покраснел, замахал руками:

– Ах, не говорите! Это ужас, это так ничтожно, что мне по улицам ходить стыдно!

Лицо у него было в этот вечер, худое, темное, строгое, точно из бронзы литое. Он очень страдал в те дни – не задолго перед тем умер его семилетній Ваня. И после «Хозяина и работника» он тотчас же заговорил о нем:

– Да, да, милый, прелестный мальчик был. Но что это значит – умер? Смерти нет, он не умер, раз мы любим его, живем им!

Вскоре мы вышли и пошли в «Посредник». Была черная мартовская ночь, дул весенний ветер, раздувая огни фонарей. Мы бежали наискось по снежному, белому Девичью Полю, он прыгал через канавы, так что я едва поспевал за ним, и опять говорил – отрывисто, строго, резко:

– Смерти нету, смерти нету!

В последній раз я видел его лет через десять после того. В страшно морозный ветер, среди огней за сверкающими, обледенелыми окнами магазинов, шел по Арбату – и неожиданно столкнулся с ним, бегущим своей пружинной, подпрыгивающей походкой прямо навстречу мне. Я остановился и сдернул шапку. Он тоже простоял и сразу узнал меня:

– Ах, это вы! Здравствуйте, надевайте, пожалуйста, надевайте шапку... Ну, как, что, где вы и что с вами?

Старческое лицо его так застыло, посинело, что имело совсем несчастный вид. Что-то вязаное из голубой песцовой шерсти, что было на его голове, было похоже на старушечій шлык. Большая рука, которую он вынул из песцовой перчатки, была совершенно ледяная. Поговорив, он крепко и нежно несколько раз пожал ею мою, опять глядя мне в глаза горестно, с поднятыми бровями.

– Ну, Христос с вами, Христос с вами, до свидания...

1927 г.

ЧЕХОВ

Я познакомился с ним в Москве, в конце девяносто пятого года. Мне запомнилось несколько характерных фраз его.

– Вы много пишете? – спросил он меня как-то.

Я ответил, что мало.

– Напрасно, – почти угрюмо сказал он своим низким грудным голосом. – Нужно, знаете, работать... Не покладая рук... всю жизнь.

И, помолчав, без видимой связи прибавил:

– По-моему, написав рассказ, следует вычеркивать его начало и конец. Тут мы, беллетристы, больше всего врем... И короче, как можно короче надо писать.

После Москвы мы не виделись до весны девяносто девятого года. Пріехав этой весной на несколько дней в Ялту, я однажды вечером встретил его на набережной.

– Почему вы не заходите ко мне? – сказал он. – Непременно приходите завтра.

– Когда? – спросил я.

– Утром, часу в восьмом. И, вероятно, заметив на моем лице удивление, он пояснил:

– Мы встаем рано. А вы?

– Я тоже, – сказал я.

– Ну, так вот и приходите, как встанете. Будем пить кофе. Вы пьете кофе? Утром надо пить не чай, а кофе. Чудесная вещь. Я, когда работаю, ограничиваюсь до вечера только кофе и бульоном. Утром – кофе, в полдень – бульон.

Потом мы молча прошли набережную и сели на скамью.

– Любите вы море? –

– Да, – ответил он, – Только уж очень оно пустынно.

– Это-то и хорошо, – сказал я.

– Не знаю, – ответил он, глядя куда-то вдаль и, очевидно, думая о чем-то своем.

– По-моему, хорошо быть офицером, молодым студентом... Сидеть где-нибудь в людном месте, слушать веселую музыку...

И, по своей манере, помолчал и без видимой связи прибавил:

– Очень трудно описывать море. Знаете, какое описание моря читал я недавно в одной ученической тетрадке? «Море было большое». И только. По-моему, чудесно.

В Москве я видел человека средних лет, высокого, стройного, легкого в движении; встретил он меня приветливо, но так просто, что я принял эту простоту за холодность. В Ялте я нашел его сильно изменившимся: он похудел, потемнел в лице, двигался медленнее, голос его звучал глушше. Но, в общем, он был почти тот же, что в Москве: приветлив, но сдержан, говорил довольно оживленно, но еще более просто и кратко, и во время разговора все думал о чем-то своем, предоставляя собеседнику самому улавливать переходы в скрытом течении своих мыслей, и все глядел на море сквозь стекла пенсне, слегка приподняв лицо. На другое утро после встречи на набережной я поехал к нему на дачу. Хорошо помню это солнечное утро, которое мы провели в его садики. С тех пор я начал бывать у него все чаще, а потом стал и совсем своим человеком в его доме. Сообразно с этим изменилось и отношение его ко мне, стало сердечнее, проще...

Белая каменная дача в Аутке, ея маленький садик, который с такой заботливостью разводил он, всегда любивший цветы, деревья, его кабинет, украшением которого

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru  
служили только две-три картины Левитана да большое полукруглое окно, открывавшее вид на утонувшую в садах долину Учан-Су и синій треугольник моря, те часы, дни, иногда даже недели, которые проводил я на этой даче, навсегда останутся памятны мне...

Наедине со мной он часто смеялся своим заразительным смехом, любил шутить, выдумывать разные разности, нелепые прозвища; как только ему хоть немного становилось лучше, он был неистощим на все на это. Любил разговоры о литературе. Говоря о ней, часто восхищался Мопассаном, Толстым. Особенно часто он говорил именно о них да еще о «Тамани» Лермонтова.

– Не могу понять, – говорил он, – как мог он, будучи мальчиком, сделать это! Вот бы написать такую вещь да еще водевиль хороший, тогда бы и умереть можно!

Часто говорил:

– Никому не следует читать своих вещей до напечатанія. Никогда не следует слушать ничьих советов. Ошибся, соврал – пусть и ошибка будет принадлежать только тебе. В работе надо быть смелым. Есть большія собаки и есть маленькія собаки, но маленькія не должны смущаться существованіем больших: все обязаны лаять – и лаять тем голосом, какой Господь Бог дал.

Почти про всех умерших писателей говорят, что они радовались чужому успеху, что они были чужды самолюбія. Но он действительно радовался вся кому таланту, и не мог не радоваться: слово «бездарность» было, кажется, высшей бранью в его устах. К своим собственным литературным успехам он относился с затаенной горечью.

– Да, Антон Павлович, вот скоро и юбилей ваш будем праздновать!

– Знаю-с я эти юбилеи! Бранят человека двадцать пять лет на все корки, а потом дарят ему гусиное перо из алюминія и, целый день несут над ним, со слезами и поцелуями, восторженную ахинею!

– Читали, Антон Павлович? – скажешь ему, увидав где-нибудь статью о нем.

Он только лукаво покосится поверх пенсне:

– Покорно вас благодарю! Напишут о ком-нибудь тысячу строк, а внизу прибавят: «а вот еще есть писатель Чехов: нытик...» А какой я нытик? Какой я «хмурый человек», какая я «холодная кровь», как называют меня критики? Какой я «пессимист?» Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ – «Студент». И слово-то противное; «пессимист...»

И порою прибавит:

– Когда вас, милостивый государь, где-нибудь бранят, вы почаще вспоминайте нас, грешных: нас, как в бурсе, критики драли за малейшую провинность. Мне один критик пророчил, что я умру под забором: я представлялся ему молодым человеком, выгнанным из гимназіи за пьянство.

– Садиться писать нужно, только тогда, когда чувствуешь себя холодным, как лед, – сказал он однажды.

«Публикует «Скорпіон» о своей книге неряшливо, – писал он мне после выхода первой книги «Северных Цветов». – Выставляет меня первым, и я, прочитав это объявление в «Русских Ведомостях», поклялся больше уже никогда не водиться ни со скорпіонами, ни с крокодилами, ни с ужами».

Он дал тогда, по моему настоянню, в альманах «Скорпіона» один из своих юношеских рассказов («В море»). Впоследствии в этом раскаивался:

– Нет, все это новое московское искусство – вздор, – говорил он. – Помню, в Таганроге я видел вывеску: «Заведение искусственных минеральных вод». Вот и это то же самое. Ново только то, что талантливо. Что талантливо, то ново.

Одно из моих последних воспоминаній о нем относится к ранней весне 1903 года. Ялта, гостиница «Россія». Уж поздній вечер. Вдруг зовут к телефону. Подхожу и слышу:

- Милодаръ, возьмите хорошаго извозчика и заезжайте за мной. Поедемте кататься.
- Кататься? Ночью? Что с вами, Антон Павлович?
- Влюблена.
- Это хорошо, но уже десятый час. И потом – вы можете простудиться...
- Молодой человек, не разсуждайте-с!

Через десять минут я был в Аутке. В доме, где он зимою жил только с матерью, была, как всегда, тишина, темнота, тускло горели две свечки в кабинете. И, как всегда, у меня сжалось сердце при виде этого кабинета, где, для него протекло столько одиноких зимних вечеров.

– Чудесная ночь! – сказал он с необычайной для него мягкостью и какой-то грустной радостью, встречая меня. – А дома – такая скуча! Только и радости, что затрещит телефон, да кто-нибудь спросит, что я делаю, а я отвечу: мышей ловлю. Поедемте в Орланду.

Ночь была теплая, тихая, с ясным месяцем, с легкими белыми облаками. Экипаж катился по белому шоссе, мы молчали, глядя на блестящую равнину моря. Потом пошел лес с легкими узорами теней, за ним зачернели толпы кипарисов, возносившихся к звездам. Когда мы оставили экипаж и тихо пошли под ними, мимо голубовато-бледных в лунном свете развалин дворца, он внезапно сказал, приостанавливаясь:

- Знаете, сколько лет еще будут читать меня? Семь.
- Почему семь? – спросил я.
- Ну, семь с половиной.
- Вы грустны сегодня, Антон Павлович, – сказал я, глядя на его лицо, бледное от лунного света.

Опустив глаза, он задумчиво копал концом палки мелкие камешки, но, когда я сказал, что он грустен, он шутливо покосился на меня.

– Это вы грустны, – ответил он. – И грустны оттого, что потратились на извозчика.

А потом серьезно прибавил:

– Читать же меня будут все-таки только семь лет, а жить мне осталось и того меньше: шесть. Не говорите только об этом одесским репортерам...

Прожил он не шесть лет, а всего год с небольшим.

Одно из его последних писем я получил в январе следующего года в Ницце:

«Здравствуйте, милый И. А.! С Новым годом, с новым счастьем! Письмо Ваше получило, спасибо. У нас в Москве все благополучно, нового (кроме Нового года) ничего нет и не предвидится, пьеса моя еще не шла, и когда пойдет – неизвестно... Очень возможно, что в феврале я приеду в Ниццу... Поклонитесь от меня милому теплому солнцу, тихому морю. Живите в свое полное удовольствие, утешайтесь, пишите почаше Вашим друзьям... Будьте здоровы, веселы, счастливы и не забывайте бурых северных компатриотов, страдающих несварением и дурным расположением духа. Целую Вас и обнимаю».

1904 г.

II

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru  
Однажды он сказал (по своему обыкновенно, внезапно):

– Знаете, какая раз была исторія со мной? И, посмотрев некоторое время в лицо мне через пенсне, принялся хохотать:

– Понимаете, поднимаясь я как-то по главной лестнице московского Благородного Собрания, а у зеркала, спиной ко мне, стоит Южин-Сумбатов, держит за пуговицу Потапенко и настойчиво, даже сквозь зубы, говорит ему: «да, пойми же ты, что ты теперь первый, первый писатель в Россіи!» – И вдруг видит в зеркале меня, краснеет и скороговоркой прибавляет, указывая на меня через плечо: «И он...»

Многим это покажется очень странным, но это так: он не любил актрис и актеров, говорил о них:

– На семьдесят пять лет отстали в развитій от русского общества. Пошлые, насквозь прожженные самолюбием люди. Вот, например, вспоминаю Соловцова...

– Позвольте, – говорю я, – а помните телеграмму, которую вы отправили Соловцовскому театру после его смерти?

– Мало ли что приходится писать в письмах, телеграммах. Мало ли что и про что говоришь иногда, чтобы не обижать...

И, помолчав, с новым смехом:

– И про Художественный театр...

В его записной книжке есть кое-что, что я слышал от него самого. Он, например, не раз спрашивал меня (каждый раз забывая, что уже говорил это, и каждый раз смеясь от всей души):

– Послушайте, а вы знаете тип такой дамы, глядя на которую, всегда думаешь, что у нея под корсажем жабры?

Не раз говорил:

– В природе из мерзкой гусеницы выходит прелестная бабочка, а вот у людей наоборот: из прелестной бабочки выходит мерзкая гусеница...

– Ужасно обедать каждый день с человеком, который заикается и говорит глупости...

– Когда бездарная актриса есть куропатку, мне жаль куропатку, которая была во сто раз умней и талантливей этой актрисы...

– Савина, как бы там ни восхищались ею, была на сцене то же, что Виктор Крылов среди драматургов...

Иногда говорил:

– Писатель должен быть нищим, должен быть в таком положеніи, чтобы он знал, что помрет с голоду, если не будет писать, будет потакать своей лени. Писателей надо отдавать в арестантскія роты и там принуждать их писать карцерами, поркой, побоями... Ах, как я благодарен судьбе, что был в молодости так беден! Как восхищался Давыдовой! Придет, бывало, к ней Мамин-Сибиряк: «Александра Аркадьевна, у меня ни копейки, дайте хоть пятьдесят рублей авансу». – «Хоть умрите, милый, не дам. Дам только в том случае, если согласитесь, что я запру вас сейчас у себя в кабинете на замок, пришлю вам чернил, перо, бумаги и три бутылки пива и выпущу только тогда, когда вы поступите и скажете мне, что у вас готов разговор». А иногда говорил совсем другое:

– Писатель должен быть баснословно богат так богат, чтобы он мог в любую минуту отправиться в путешествіе вокруг света на собственной яхте, снарядить экспедицию к истокам Нила, к южному полюсу, в Тибет и Аравію, купить себе весь Кавказ или Гималаи... Толстой говорит, что человеку нужно всего три аршина земли. Вздор – три аршина земля нужно мертвому, а живому нужен весь земной шар. И особенно – писателю...

Говоря о Толстом, он как-то сказал:

– Чем я особенно в нем восхищаюсь, так это его презрением ко всем нам, прочим писателям, или лучше сказать, не презрением, а тем, что он всех нас, прочих писателей, считает совершенно за ничто. Вот он иногда хвалит Мопассана, Куприна, Семенова, меня... Отчего хвалит? Оттого, что он смотрит на нас, как на детей. Наши повести, рассказы, романы для него детскія игры, и поэтому он, в сущности, одними глазами глядит и на Мопассана и на Семенова. Вот Шекспир – другое дело. Это уже взрослый и раздражает его, что пишет не, по-толстовски...

Однажды, читая газеты, он поднял лицо а, не спеша, без интонацій, сказал:

– Все время так: Короленко и Чехов, Потапенко и Чехов, Горькій и Чехов...

Теперь он выявлен. Но, думается, и до сих пор не понят как следует: слишком своеобразный, сложный был он человек, душа скрытная.

Замечательная есть строка в его записной книжке:

– Как я буду лежать в могиле один, так в сущности я и живу один.

В ту же записную книжку он занес такія мысли:

– Как люди охотно обманываютса, как любят они пророков, вещателей, какое это стадо!

– На одного умного полагается 1000 глупых, на одно умное слово приходится 1000 глупых, и эта тысяча заглушает.

Его заглушали долго. До «Мужиков», далеко не лучшей его вещи, большая публика охотно читала его; но для нея он был только занятный рассказчик, автор «Винта», «Жалобной книги»... Люди «идейные» интересовались им, в общем, мало: признавали его талантливость, но серьезно на него не смотрели, – помню, как некоторые из них искренно хотели надо мной, юнцом, когда я осмелился сравнивать его с Гаршиним, Короленко, а были и такие, которые говорили, что и читать-то никогда не станут человека, начавшаго писать под именем Чехонте:

«Нельзя представить себе, говорили они, чтобы Толстой или Тургенев решились заменить свое имя такой пошлой кличкой».

Настоящая слава пришла к нему только с постановкой его пьес в Художественном театре. И, должно быть, это было для него не менее обидно, чем то, что только после «Мужиков» заговорили о нем: ведь и пьесы его далеко не лучшее из написанного им, а кроме того, это ведь значило, что внимание к нему привлек театр, то, что тысячу раз повторилось его имя на афишах, что запомнились: «22 несчастья», «глубокоуважаемый шкап», «человека забыли»... Он часто сам говорил:

– Какие мы драматурги! Единственный, настоящій драматург – Найденов: прирожденный драматург, с самой, что ни на есть драматической пружиной внутри. Он должен теперь еще десять пьес написать и девять раз провалиться, а на десятый опять такой успех иметь, что только ахнешь!

И, помолчав, вдруг заливался радостным смехом:

– Знаете, я недавно у Толстого в Гаспре был. Он еще в постели лежал, но много говорил обо всем, и обо мне, между прочим. Наконец я встаю, прощаюсь. Он задерживает мою руку, говорит: «Поцелуйте меня», и, поцеловав, вдруг быстро суется к моему уху и этакой энергичной старческой скороговоркой: «А все-таки пьес ваших я терпеть не могу. Шекспир скверно писал, а вы еще хуже!»

Долго иначе не называли его, как «хмурым» писателем, «певцом сумеречных настроений», «больным талантом», человеком, смотрящим на все безнадежно и равнодушно.

Теперь гнут палку в другую сторону. «Чеховская нежность, грусть, теплота», «чеховская любовь к человеку...» Воображаю, что чувствовал бы он сам, читая про свою «нежность»! Еще более были бы противны ему «теплота», «грусть».

Говоря о нем, даже талантливые люди порой берут неверный тон. Например,

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru  
Елпатьевскій; «Я встречал у Чехова людей добрых и мягких, нетребовательных и неповелительных, и его влекло к таким людям... Его всегда влекли к себе тихія долины с их мглой, туманными мечтами и тихими слезами...» Короленко характеризует его талант такими жалкими словами, как «простота и задушевность», приписывает ему «печаль о призраках». Одна из самых лучших статей о нем принадлежит Шестову, который называет его безпощаднейшим талантом.

Точен и скуп на слова был он даже в обыденной жизни. Словом он чрезвычайно дорожил, слово высокопарное, фальшивое, книжное действовало на него резко; сам он говорил прекрасно – всегда по-своему, ясно, правильно. Писателя в его речи не чувствовалось, сравненія, эпитеты он употреблял редко, а если и употреблял, то чаще всего обыденные и никогда не щеголял ими, никогда не наслаждался своим удачно сказанным словом.

К «высоким» словам чувствовал ненависть. Замечательное место есть в одних воспоминаніях о нем: «Однажды я пожаловался Антону Павловичу: «Антон Павлович, что мне делать? Меня рефлексія заела!» И Антон Павлович ответил мне: «А вы поменьше водки пейте.»

Верно, в силу этой ненависти к «высоким» словам, к неосторожному обращенію со словом, свойственному многим стихотворцам, а теперешним в особенности, так редко удовлетворялся он стихами:

- Это стоит всего Уреніуса, – сказал он однажды, вспомнив «Парус» Лермонтова.
- Какого Уреніуса? – спросил я.
- А разве нет такого поэта?
- Нет.
- Ну, Упрудіуса, – сказал он серьезно.
- Вот умрет Толстой, все к черту пойдет! говорил он не раз.
- Литература?
- И литература.

Про московских «декадентов», как тогда называли их, он однажды сказал:

- Какіе они декаденты, они здоровеннейшіе мужики! Их бы в арестантскія роты отдать...

Про Андреева тоже не лестно:

- Прочитаю страницу Андреева – надо после того два часа гулять на свежем воздухе.

Удовольствіе, с которым он хохотал всегда, когда ему что-нибудь особенно нравилось.

Случалось, что собирались у него люди самых различных рангов: со всеми он был одинаков, никому не оказывал предпочтенія, никого не заставлял страдать от самолюбія, чувствовать себя забытым, лишним. И всех неизменно держал на известном разстоянії от себя.

Чувство собственного достоинства, независимости было у него очень велико.

- Боюсь только Толстого. Ведь подумайте, ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нея блестят глаза в темноте! – Серьезно, я его боюсь, – говорит он, смеясь и как бы радуясь этой боязни.

И однажды чуть не час решал, в каких штанах поехать к Толстому. Сбросил пленсне, помолодел и, мешая, по своему обыкновенію, шутку с серьезным, все выходил из спальни то в одних, то в других штанах:

- Нет, эти неприлично узки! Подумает: щелкопер!

И шел надевать другіе, и опять выходил, смеясь:

– А эти шириной с Черное море! Подумает: нахал...

Однажды он, в небольшой компанії близких людей, поехал в Алупку и завтракал там в ресторан, был весел, много шутил. Вдруг из сидевших за соседним столом поднялся какой-то господин с бокалом в руке.:

– Господа! Я предлагаю тост за присутствующего среди нас Антона Павловича, гордость вашей литературы, певца сумеречных настроений...

Побледнев, он встал и вышел.

Я подолгу жил в Ялте и почти все дни проводил у него. Часто я уезжал поздно вечером, и он говорил:

– Приезжайте завтра пораньше.

Он на некоторых буквах шепелявил, голос у него был глуховатый, и часто говорил он без оттенков, как бы бормоча: трудно было иногда понять, серьезно ли говорит он. И я порой отказывался. Он сбрасывал пенсне, прикладывал руки к сердцу с едва уловимой улыбкой на бледных губах, раздельно повторял:

– Ну, убедительнейше вас прошу, господин маркиз Букишон! Если вам будет скучно со старым забытым писателем, посидите с Машей, с мамашей, которая влюблена в вас, с моей женой, венгеркой Книпшиц... Будем говорить о литературе...

Я пріезжал и случалось, что мы, сидя у него в кабинете, молчали все утро. просматривая газеты, которых он получал множество. Он говорил: «Давайте газеты читать и выуживать из провинціальной хроники темы для драм и водевилей». Иногда попадалось кое-что обо мне, чаще всего что-нибудь очень неумное, и он спешил смягчить это:

– Обо мне же еще глупее писали, обо мне говорили еще злее, а то и совсем молчали...

Случалось, что во мнѣ находили «чеховское настроение». Оживляясь, даже волнуясь, он восклицал с мягкой горячностью:

– Ах, как это глупо! Ах, как глупо! И меня допекали «тургеневскими нотами». Мы похожи с вами, как борзая на гончую. Вы, например, гораздо резче меня. Вы вон пишете: «море пахнет арбузом... Это чудесно, но я бы так не сказал. Вот про курсистку – другое дело...

– Про какую курсистку?

– А помните, мы с вами выдумывали рассказ: жара, степь за Харьковом, идет длиннейший почтовый поезд... А вы прибавили: курсистка в кожаном поясе стоит у окна вагона третьего класса и вытряхивает из чайника мокрый чай. Чай летит по ветру в лицо толстого господина, высунувшагося из другого окна...

Иногда он вдруг опускал газету, сбрасывал пенсне и принимался тихо и сладко хохотать.

– Что такое вы прочли?

– Самарскій купец Бабкин, – хохоча, отвечал он тонким голосом, – завещал свое состояніе на памятник Гегелю.

– Вы шутите?

– Ей Богу, нет. Гегелю.

А то, опуская газету, внезапно спрашивал:

– Что вы обо мне будете писать в своих воспоминаніях?

– Это вы будете обо мне писать. Вы переживете меня.

– Да вы мне в дети годитесь.

– Все равно. В вас народная кровь.

– А в вас дворянская. Мужики и купцы страшно быстро вырождаются. Прочтите-ка мою повесть «Три года». А потом вы же здоровеннейший мужчина, только худы очень, как хорошая борзая. Принимайте аппетитные капли и будете жить сто лет. Я пропишу вам нынче же, я ведь доктор. Ко мне сам Никодим Палыч Кондаков обращался, и я его от геморроя вылечил. А в воспоминаніях обо мне не пишите, что я был «симпатичный талант и кристальной чистоты человек.»

– Это про меня писали, – говорил я, – писали, будто я симпатичное дарование.

Он принимался хотеть с тем мучительным удовольствием, с которым он хотел тогда, когда ему что-нибудь особенно правилось.

– Постойте, а как это про вас Короленко написал?

– Это не Короленко, а Златовратский. Про один из моих первых рассказов. Он написал, что этот рассказ «сделал бы честь и более крупному таланту».

Он со смехом падал головой на колени, потом надевал пенсне и, глядя на меня зорко и весело, говорил:

– Все-таки это лучше, чем про меня писали. Нас, как в бурсе, критики каждую субботу драли. И поделом. Я начал писать, как последний сукин сын. Я ведь пролетарий. В детстве, в нашей таганрогской лавочке, я сальными свечами торговал. Ах, какой там проклятый холод был! А я все таки с наслаждением заворачивал эту ледяную свечку в обрывок хлопчатой бумаги. А нужник у нас был на пустыре, за версту от дома. Бывало, прибежишь туда ночью, а там жулик ночует. Испугаемся друг друга ужасно! – Только вот вам мой совет, – вдруг прибавлял он: – перестаньте быть дилетантом, сделайтесь хоть немного мастеровым. Это очень скверно, как я должен был писать – из-за куска хлеба, но в некоторой мере обязательно надо быть мастеровым, а не ждать все время вдохновенья.

Потом, помолчав:

– А Короленке надо жене изменить, обязательно, чтобы начать получше писать. А то он черезчур благороден. Помните, как вы мне рассказывали, что он до слез восхищался однажды стихами в «Русском Богатстве» какого-то Вербова или Веткова, где описывались «волки реакции», обступившие певца, народного поэта, в поле, в страшную мятель, и то, как он так звучно ударил по струнам лиры, что волки; в страхе разбежались? Это вы правду рассказывали?

– Честное слово, правду.

– А кстати: вы знаете, что в Перми все извозчики похожи на Добролюбова?

– Вы не любите Добролюбова?

– Нет, люблю. Это же порядочные были люди. Не то, что Скабичевский, который писал, что я умру под забором от пьянства, так как у меня «искры Божьей нет».

– Вы знаете, – говорил я, – мне Скабичевский сказал однажды, что он за всю свою жизнь не видел, как растет рожь, и ни с одним мужиком не разговаривал.

– Ну, вот, вот, а всю жизнь про народ и про рассказы из народного быта писал... да, страшно вспомнить, что обо мне писали! И кровь-то у меня холодная, – помните у меня рассказ «Холодная кровь»? – и изображать-то мне решительно все равно что именно – собаку или утопленника, поезд или первую любовь... Меня еще спасали «Хмурые люди», находили, что это рассказы все таки стоящие, потому что там будто бы изображена реакция восьмидесятых годов. Да еще рассказ «Припадок» – там «честный» студент с ума сходит при мысли о проституции. А я русских студентов терпеть не могу – они же лодыри...

Раз, когда он опять как то стал шутя приставать ко мне, что именно напишу я о

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru  
нем в своих воспоминаніях, я ответил:

– Я напишу прежде всего, как и почему я познакомился с вами в Москве. Это было в девяносто пятом году, в декабре. Я не знал, что вы приехали в Москву. Но вот, сидим мы однажды с одним поэтом в Большом Московском, пьем красное вино, слушаем машину, а поэт все читает свои стихи, все больше и больше собой восторгаясь. Вышли мы очень поздно, и поэт был уже так возбужден, что и на лестнице продолжал читать. Так, читая, он стал и свое пальто на вешалке искать. Швейцар ему нежно:

«Позвольте, господин, я сам найду...» Поэт на него зверем: «Молчать, не мешай!» – «Но, позвольте, господин, это не ваше пальто...» «Как, негодяй? Значит я чужое пальто беру?» – «Так точно, чужое-с». – «Молчать, негодяй, это мое пальто!» – «да нет же, господин, это не ваше пальто!»

– «Тогда говори сюю же минуту, чье»

«Антона Павловича Чехова».

Врешь, я убью тебя за эту ложь на месте!» – «Есть на то воля ваша, только это пальто Антона Павловича Чехова». – «Так, значит, он здесь?» – «Всегда у нас останавливаются...» И вот, мы чуть не кинулись к вам знакомиться в три часа ночи. Но, к счастью, удержались и пришли на другой день, и на первый раз не застали – видели только ваш, номер, который убирала горничная, и вашу рукопись на столе. Это было начало «Бабьяго царства».

Он подтирал со смеху и говорил;

– Кто этот поэт, догадываюсь. Бальмонт, конечно. А откуда вы узнали, какая именно рукопись лежала у меня на столе? Значит, подсмотрели?

– Простите, дорогой, не удержались.

– А жалко, что вы не зашли ночью. Это очень хорошо – закатиться куда-нибудь ночью, внезапно. Я люблю рестораны.

Необыкновенно радовался он однажды, когда я рассказал ему, что наш сельский дьякон до крупинки съел как-то, на именинах моего отца, (фунта два икры. Этой историей он начал свою повесть «В овраге».

Он любил повторять, что если человек не работает, не живет постоянно в художественной атмосфере, то, будь он хоть Соломон премудрый, все будет чувствовать себя пустым, бездарным.

Иногда вынимал из стола свою записную книжку и, подняв лицо и блестя стеклами пенсне, мотал ею в воздухе:

– Ровно сто сюжетов! да-с, милодарь! Не вам, молодым, чета! Работник! Хотите, парочку продам?

Иногда он разрушал себе вечернія прогулки. Раз возвращаемся с такой прогулки уже поздно. Он очень устал, идет через силу, – за последние дни много смочил платков кровью, – молчит, прикрывает глаза. Проходим мимо балкона, за парусиной которого свет и силуэты женщин. И вдруг он открывает глаза и очень громко говорит:

– А слышали? Какой ужас! Бунина убили! В Аутке, у одной татарки!

Я останавливалась от изумленія, а он быстро шепчет:

– Молчите! Завтра вся Ялта будет говорить об убийстве Бунина

Один писатель жаловался: «до слез стыдно, как слабо, плохо начал я писать!»

– Ах, что вы, что вы! – воскликнул он. – Это же чудесно – плохо начать! Поймите же, что, если у начинающего писателя сразу выходит все честь честью, ему крышка, пиши пропало!

И горячо стал доказывать, что рано и быстро созревают только люди способные, то есть не оригинальные, таланта, в сущности, лишенные, потому что способность

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru равняется умением приспособляться и «живет она легко», а талант мучится, ища проявлений себя.

По берегам Черного моря работало много турок, кавказцев. Зная то недоброжелательство, смешанное с презрением, какое есть у нас к инородцам, он не упускал случая с восхищением сказать, какой это трудолюбивый, честный народ.

Он мало ел, мало спал, очень любил порядок. В комнатах его была удивительная чистота, спальня была похожа на девичью. Как ни слаб бывал он порой, ни малейшей поблажки не давал он себе в одежде.

Руки у него были большими, сухими, приятными. Как почти все, кто много думает, он нередко забывал то, что уже не раз говорил.

Помню его молчание, покашливание, прикрывание глаз» думу на лице, спокойную и печальную, почти важную. Только не «грусть», не «теплоту».

Крымский зимний день, серый, прохладный, сонные густые облака на яйле. В чеховском доме тихо, мерный стук будильника из комнаты Евгения Яковлевны. Он, без пенсне, сидит в кабинете за письменным столом, не спеша, аккуратно записывает что-то. Потом встает, надевает пальто, шляпу, кожаные мелкие калоши, уходит куда-то, где стоит мышеловка. Возвращается, держа за кончик хвоста живую мышь, выходит на крыльцо, медленно проходит сад вплоть до ограды, за которой татарское кладбище на каменистом бугре. Осторожно бросает туда мышь и, внимательно оглядывая молодых деревца, идет к скамейке среди сада. За ним бежит журавль, две собачонки. Сев, он осторожно играет тросточкой с одной из них, упавшей у его ног на спину, усмехается: блохи ползут по розовому брюшку... Потом, прислонясь к скамье, смотрит вдаль, на яйлу, подняв лицо, что-то думая. Сидит так час, полтора...

Была ли в его жизни, хоть одна большая любовь? Думаю, что нет.

«Любовь, – писал он в своей записной книжке, – это или остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь.»

Что думал он о смерти?

Много раз старательно-твердо говорил, что *бесмертие*, жизнь после смерти в какой бы то ни было форме – сущий вздор:

– Это суеверие. А всякое суеверие ужасно. Надо мыслить ясно и смело. Мы как-нибудь потолкуем с вами об этом основательно. Я, как дважды два четыре, докажу вам, что *бесмертие* – вздор.

По потом несколько раз еще тверже говорил противоположное:

– Ни в коем случае не можем мы исчезнуть без следа. Обязательно будем жить после смерти. *Бесмертие* – факт. Вот погодите, я докажу вам это...

Последнее время часто мечтал вслух:

– Стать бы бродягой, странником, ходить по святым местам, поселиться в монастыре среди леса, у озера, сидеть летним вечером на лавочке возле монастырских ворот...

Его «Архидиакон» прошел незамеченным – не то что «Вишневый сад» с большими бумажными, цветами, невероятно густо белевшими за театральными окнами. И кто знает, что было бы с его славой, не будь «Винта», «Мужиков», Художественного театра!

«Через месяц был назначен новый викарный архидиакон, а о преосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойного, которая живет теперь в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын архидиакон, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят... И ей в самом деле не все верили...»

### Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru

Последнее письмо я получил от него из-за границы, в середине июня 1904 года, живя в деревне. Он писал, что чувствует он себя недурно, заказал себе белый костюм, огорчается только за Японію, «чудесную страну», которую, конечно, разобьет и раздавит Россія. Четвертого юля я поехал верхом в село на почту, взял там газеты, письма и завернул в кузницу перековать лошади ногу. Был жаркий и сонный степной день, с тусклым блеском неба, с горячим южным ветром. Я развернул газету, сидя па пороге кузнецовой избы, – и вдруг точно ледяная бритва полоснула мне по сердцу...

Смерть его ускорила простуда. Перед отъездом из Москвы заграницу он пошел в бани и, вымывшись, оделся и вышел слишком рано: встретился в предбаннике с Сергеенко и бежал от него, от его навязчивости, болтливости...

Это тот самый Сергеенко, который много лет надоедал Толстому («Как живет и работает Толстой») и котораго Чехов, за его худобу и длинный рост, неизменный черный костюм и черные волосы, называл так:

– Погребальные дороги стоймя.

1914 г.

### III

Года полтора назад я публично читал в Париже мои литературные воспоминанія и, оговорившись, что считаю Чехова одним из самых замечательных русских писателей, позволил себе сказать, что не люблю его пьес, что они, по-моему, все очень плохи и что ему не следовало бы писать пьесы из дворянского быта, котораго он не знал. Это вызвало во многих негодование против меня, обиды. Е. Д. Кускова написала по поводу этих воспоминаній два больших фельетона в «Новом Русском Слове». «В Женеве, писала она, и старики, и молодые обиделись на Бунина за Чехова, за Бальмонта, за Горькаго... Этих писателей любят и сейчас, Чеховым зачитываются, хотя, казалось бы, эта старая, унылая Русь с ее нытиками ушла в прошлое...» Вот это было уже подлинное оскорблениe Чехова – низводить его до бытописателя «старой, унылой Руси». Вот на Е. Д. Кускову следовало бы оскорбиться весьма основательно, а женевским «старикам» не мешало бы помнить, что Горкій называл их, русских интеллигентов, со свойственной ему гадкой грубостью, «чуланом с тухлой провизієй». Следовало бы обидеться еще и на знаменитую артистку Ермолову. Среди ея опубликованных писем есть между прочим такое письмо к ея другу, ялтинскому доктору Середину: «Вы спрашивайте, отчего мни не нравится повесть Чехова «В овраге»? Но потому, что чеховщина есть для меня символ безпросветной тьмы, всевозможных болезней и печали». Зато Горькаго считала «милой, светлой личностью» и просила Середина: «Вы с Горким близки, не давайте ему сбиваться с этой светлой нотки, которая так сильно звучит в его произведениях...» Читаешь и глазам своим не веришь! «В овраге» одно из самых прекрасных во всех отношениях созданий русской литературы, но для Ермоловой это «чеховщина, символ безпросветной тьмы», зато Горкій – «милая светлая личность», у него, написавшего великое множество нарочито грязных злобных, мрачных вещей, «сильно» звучала, оказывается, «светлая нотка»!

1950 г.

### ШАЛЯПИН

В Москве когда-то говорили, что Шаляпин дружит с писателями в пику Собинову, который соперничал с ним в славе: говорили, что тяга Шаляпина к писателям объясняется вовсе не его любовью к литературе, а желаніем сльти не только знаменитым певцом, но и «передовым, идейным человеком», – пустъ, мол, сходит с ума от Собинова только та публика, которая во все времена и всюду сходила и будет сходить с ума от теноров. Но мне кажется, что Шаляпина тянуло к нам не всегда корыстно. Помню, например, как горячо хотел он познакомиться с Чеховым, сколько раз говорил мне об этом. Я наконец спросил:

– Да за чем же дело стало?

– За тем, – отвечал он, – что Чехов нигде не показывается, все нет случая представиться ему.

– Помилуй, какой для этого нужен случай! Возьми извозчика и поезжай.

– Но я вовсе не желаю показаться ему нахалом! А кроме того, я знаю, что я так оробею перед ним, что покажусь еще и совершенным дураком. Вот если бы ты свез меня как-нибудь к нему...

Я не замедлил сделать это и убедился, что все была правда: войдя к Чехову, он покраснел до ушей, стал что-то бормотать... А вышел от него в полном восторге:

– Ты не поверишь, как я счастлив, что наконец узнал его, и как очарован им! Вот этот человек, вот это писатель! Теперь на всех прочих буду смотреть как на верблюдов.

– Спасибо, – сказал я, смеясь.

Он захотел на всю улицу.

Есть знаменитая фотографическая карточка, – знаменитая потому, что она, в виде открытки, разошлась в свое время в сотнях тысячах экземпляров, – та, на которой сняты Андреев, Горький, Шаляпин, Скиталец, Чириков, Телешов и я. Мы сошлись однажды на завтрак в московской немецкой ресторан «Альпійская роза», завтракали долго и весело и вдруг решили – ехать сниматься. Тут мы со Скитальцем сперва немножко поругались. Я сказал:

– Опять сниматься! Все сниматься! Сплошная собачья свадьба. Скиталец обиделся:

– Почему же это свадьба да еще собачья?

– ответил он своим грубо-наигранным басом.

– Я, например, собакой себя никак не считаю, не знаю, как другие считают себя.

– А как же это назвать иначе? – сказал я.

– Идет у нас сплошной пир, праздник. По вашим же собственным словам, «народ пухнет с голоду», Россія гибнет, в ней «всякія напасти, внизу власть тьмы, а наверху тьма власти», над ней «реет буревестник, черной молнії подобен», а что в Москве, в Петербурге? День в ночь праздник, всероссійское событие за событием: новый сборник «Знанія», новая пьеса Гамсун, премьера в Художественном театре, премьера в Большом театре, курсистки падают в обморок при виде Станиславского и Качалова, лихачи мчатся к Яру и в Стрельну...

Дело могло перейти в скорую, но тут поднялся общий смех. Шаляпин закричал:

– Браво, правильно! А все-таки айда, братцы, увековечивать собачью свадьбу! Снимаемся мы, правда, частенько, да надо же что-нибудь потомству оставить после себя. А то пел, пел человек, а помер и крышка ему.

– Да, – подхватил Горький. – писал, писал – и околел.

– Как, например, я. – сумрачно сказал Андреев. – Околею в первую голову...

Он это постоянно говорил, и над ним посмеивались. Но так оно и вышло.

Всі считали Шаляпина очень левым, ревели от восторга, когда он пел «Марсельезу» или «Блоху», в которой тоже усматривали нечто революционное, сатанинское, издевательство над королями:

Жил был король когда-то.

При нем блоха жила...

И что же вдруг случилось? Сатана стал на колени перед королем – по всей Россії прокатился слух: Шаляпин стал на колени перед царем! Толкам об этом, возмущенію Шаляпіним не было конца краю. И сколько раз потом оправдывался Шаляпин в этом своем прегрешенії!

– А как же мне было не стать на колени? – говорил он. – Был бенефис императорского оперного хора, вот хор и решил обратиться на высочайшее имя с просьбой о прибавке жалованья, воспользоваться присутствием царя на спектакле и стать перед ним на колени. И обратился и, стал. И что же мне, тоже павшему среди хора, было делать? Я никак не ожидал этого коленопреклоненія, как вдруг вижу: весь хор точно косой скосило на сцене, все оказались на коленях, протягивая руки к царской ложе! Что же мне было делать? Одному торчать над всем хором телеграфным столбом? Ведь это был бы форменный скандал!

В России я его видел в последний раз в начале апреля 1917 года, в дни, когда уже пріехал в Петербург Ленин. Я в эти дни тоже был в Петербурге и вместе с Шаляпиным получил приглашение от Горького присутствовать на торжественном собрище в Михайловском театре, где Горький должен был держать речь по поводу учрежденія им какой-то «Академіи свободных наук». Не понимаю, не помню, почему, мы с Шаляпином получили приглашение на это во всех смыслах нелепое собрище. Горький держал свою речь весьма долго, высокопарно и затем объявил:

– Товарищи, среди нас Шаляпин и Бунин! Предлагаю их приветствовать!

Зал стал бешено аплодировать, стучать ногами, вызывать нас. Мы скрылись за кулисы, как вдруг кто-то прибежал вслед за нами, говоря, что зал требует, чтобы Шаляпин пел. Выходило так, что Шаляпину опять надо было «становиться на колени». Но он решительно сказал прибежавшему:

– Я не пожарный, чтобы лезть на крышу по первому требованію. Так и объявите в зале.

Прибежавший скрылся, а Шаляпин сказал мне, разводя руками:

– Вот, брат, какое дело: и петь нельзя и не петь нельзя, – ведь в свое время вспомнят, на фонаре повесят, черти. А все-таки петь я не стану.

И так и не стал. При большевиках уже не был столь храбр. За то в конце концов ухитрился сбежать от них.

В юне 37го года я слушал его в последний раз в Париже. Он давал концерт, пел то один, то с хором Афонского. Думаю, что уже и тогда он был тяжело болен. Волновался необыкновенно. Он, конечно, всегда волновался, при всех своих выступлениях, – это дело обычное: я видел, как вся тряслась и крестилась перед выходом на сцену Ермолова, видел за кулисами после сыгранной роли Ленского и даже самого Росси, – войдя в свою уборную, они падали просто замертво. То же самое в некоторой мере бывало, вероятно, и с Шаляпиным, только прежде публика этого никогда не видела. Но на этом последнем концерте она видела, и Шаляпина спасал только его талант жестов, интонаций. Из-за кулис он прислал мне записку, чтобы я зашел к нему. Я пошел. Он стоял бледный, в поту, держа папирису в дрожащей руке, тотчас спросил (чего прежде, конечно, не сделал бы):

– Ну что, как я пел?

– Конечно, превосходно, – ответил я. И пошутил: – Так хорошо, что я все время подпевал тебе и очень возмущал этим публику.

– Спасибо, милый, пожалуйста подпевай, – ответил он со смутной улыбкой. – Мне, знаешь, очень нездоровится, на днях уезжаю отдыхать в горы, в Австрию. Горы – это, брат, первое дело. А ты на лето куда?

Я опять пошутил:

– Только не в горы. Я и так все в горах: то Монмартр, то Монпарнас.

Он опять улыбнулся, но очень разсиянно, Ради чего дал он этот последний концерт? Ради Того, вероятно, что чувствовал себя па исходе и хотел проститься со сценой, а не ради денег, хотя деньги любил, почти никогда не пел с благотворительными целями, любил говорить:

– Безплатно только птички поют.

В последний раз я видел его месяца за полтора до его кончины,— навестил его, больного, вместе с М. А. Алдановым. Болен он был уже тяжело, но сил, жизненного и актерского блеска было в нем еще много. Он сидел в кресле в углу столовой, возле горевшей под желтым абажуром лампы, в широком черном шелковом халате, в красных туфлях, с высоко поднятым над лбом коком, огромный и великолепный, как стареющей лев. Такого породистого величия я в нем прежде никогда не видал. Какая была в нем кровь? Та особая северорусская, что была в Ломоносове, в братьях Васнецовых? В молодости он был крайне простонароден с виду, но с годами все менялся и менялся.

Толстой, в первый раз послушав его пение, сказал:

— Нет, он поет слишком громко.

Есть еще и до сих пор множество умников, искренно убежденных, что Толстой ровно ничего не понимал в искусстве, «бранил Шекспира, Бетховена». Оставим их в стороне; но как же все-таки объяснить такой отзыв о Шаляпине? Он остался совершенно равнодушен ко всем достоинствам шаляпинского голоса, шаляпинского таланта? Этого, конечно, быть не могло. Просто Толстой умолчал об этих достоинствах, — высказался только о том, что показалось ему недостатком, указал на ту черту, которая действительно была у Шаляпина всегда, а в те годы, — ему было тогда лет двадцать пять, — особенно: на избыток, на некоторую неумеренность, подчеркнутость его всяческих сил. В Шаляпине было слишком много «богатырского размаха», данного ему и от природы и благоприобретенного на подмостках, которыми с ранней молодости стала вся его жизнь, каждую минуту раздражаемая непрестанными восторгами толпы везде и всюду, по всему миру, где бы она его ни видела: на оперной сцене, на концертной эстраде, на знаменитом пляже, в дорогом ресторане или в салоне миллионера. Трудно вкусившему славы быть умеренным!

— Слава подобна морской воде, — чем больше пьешь, тем больше жаждешь, — шутил Чехов.

Шаляпин пил эту воду без конца, без конца и жаждал. И как его судить за то, что любил он подчеркивать свои силы, свою удаль, свою русскость, равно как и то, «из какой грязи попал он в князи»? Раз он показал мне карточку своего отца:

— Вот посмотри, какой был у меня родитель. Драл меня нещадно!

Но на карточке был весьма благопристойный человек лет пятидесяти, в крахмальной рубашке с отложным воротничком и с черным галстучком, в енотовой шубе, и я усумнился: точно ли драл? Почему это все так называемые «самородки» непременно были «нещадно драны» в детстве, в отрочестве? «Горький», Шаляпин поднялись со дна моря народного... Точно ли «со дна»? Родитель, служивший в уездной земской управе, ходивший в енотовой шубе и в крахмальной рубашке, не Бог весть какое дно. Думаю, что несколько прикрашено вообще все детство, все отрочество Шаляпина в его воспоминаниях, прикрашены друзья и товарищи той поры его жизни, — например, какой-то кузнец, что-то уж слишком красиво; говоривший ему о пении:

— Пой, Федя, — на душе веселей будет! Песня — как птица, выпусти ее, она и летит!

И все-таки судьба этого человека была действительно сказочна, — от пріятельства с кузнецом до пріятельских обедов с великими князьями и наследными принцами дистанція не малая. Была его жизнь и счастлива без меры, во всех отношениях: поистине дал ему Бог «в пределе земном все земное». Дал и великую телесную крепость, пошатнувшуюся только после целых сорока лет странствий по всему миру и всяческих земных соблазнов.

Я однажды жил рядом с Баттистини в гостинице в Одессе: он тогда в Одессе гастролировал и всех поражал не только молодой свежестью своего голоса, но и вообще молодостью, хотя ему было уже семьдесят четыре года. В чем была тайна этой молодости? Отчасти в том, как берег он себя: после каждого спектакля тотчас же возвращался домой, пил горячее молоко с зельтерской водой и ложился спать. А Шаляпин? Я его знал много лет и вот вспоминаю: большинство наших встреч с ним все в ресторанах. Когда и, где мы познакомились, не помню. Но помню, что перешли на ты однажды ночью в Большом Московском Трактире, в огромном доме против Иверской часовни. В этом доме, кроме трактира, была и гостиница, в которой я,

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин [buninivan.ru](http://buninivan.ru)

проезжая в Москву, иногда жил подолгу. Слово трактир уже давно не подходило к тому дорогому и обширному ресторану, в который постепенно превратился трактир с годами, и тем более в ту пору, когда я жил над ним в гостинице: в эту пору его еще расширили, открыли при нем новые залы, очень богато обставленные и предназначенные для особенно богатых обедов, дляочных кутежей наиболее знатных московских купцов из числа наиболее европеизированных. Помню, что в тот вечер главным среди пирующих был московский француз Сіу со своими дамами и знакомыми, среди которых сидел и я. Шампанское за столом Сіу, как говорится, лилось рекой, он то и дело посыпал на чай сторублевки неаполитанскому оркестру, игравшему и певшему в своих красных куртках на эстраде, затопленной блеском люстр. И вот на пороге зала вдруг выросла огромная фигура желтоволосого Шаляпина. Он, что называется, «орлиным» взглядом окинул оркестр – и вдруг взмахнул рукой и подхватил то, что он играл и пел. Нужно ли говорить, какой изступленный восторг охватил неаполитанцев и всех пирующих при этой неожиданной «королевской» милости! Пили мы в ту ночь чуть не до утра, потом, выйдя из ресторана, остановились, прощаясь на лестнице в гостиницу, и он вдруг мне сказал этаким волжским тенорком:

- Думаю, Ванюша, что ты очень выпимши, и поэтому решил поднять тебя на твой номер на своих собственных плечах, ибо лифт не действует уже.
- Не забывай, – сказал я, – что живу я на пятом этаже и не так мал.
- Ничего, милый, – ответил он, – как-нибудь донесу!

И, действительно, донес, как я ни отбивался. А донеся, доиграл «богатырскую» роль до конца – потребовал в номер бутылку «столетняго» бургонского за целых сто рублей (которое, оказалось похоже на малиновую воду).

Не надо преувеличивать, но не надо и преуменьшать: тратил он себя все-таки порядочно. Без умолку говорить, не давая рта раскрыть своему собеседнику, неустанно рассказывать то то, то другое, все изображая в лицах, сыпать прибаутками, словечками, – и чаще всего самыми крепкими, – жечь папиросу за папиросой и все время «богатырствовать» было его истинной страстью. Как-то неслись мы с ним на лихаче по зимней ночной Москве из «Праги» в «Стрельну»: мороз жестокий, лихач мчит во весь опор, а он сидит во весь свой рост, распахнувши шубу, говорит и хочет во все горло, курит так, что искры летят по ветру. Я не выдержал и крикнул:

- Что ты над собой делаешь! Замолчи, запахнись и брось папиросу!
- Ты умный, Ваня, – ответил он сладким говорком, – только напрасно тревожишься: жила у меня, брат, особенная, русская, все выдержит.
- Надоел ты мне со своей Русью! – сказал я.
- Ну, вот, вот. Опять меня браницы. А я этого боюсь, бранью человека можно в гроб вогнать. Все называешь меня «ой ты гой если, добрый молодец»: за что, Ваня?
- За то, что не щеголяй в поддевках, в лаковых голеницах, в шелковых жаровых косоворотках с малиновыми поясами, не наряжайся под народника вместе с Горьким, Андреевым, Скитальцем, не снимайся с ними в обнимку в разудало-задумчивых позах, – помни, кто ты и кто они.
- Чем же я от них отличаюсь?
- Тем, что, например, Горький и Андреев очень способные люди, а все их писанія все-таки только «литература» и часто даже лубочная, твой же голос во всяком случае не «литература».
- Пьяные, Ваня, склонны льстить.
- И то правда, – сказал я, смеясь. – А ты все-таки замолчи и запахнись.
- Ну, ин будь по твоему...

И, запахнувшись, вдруг так рявкнул «У Карла есть врачи!», что лошадь рванула и понесла еще пуще.

В Москве существовал тогда литературный кружок «Среда», собиравшийся каждую неделю в доме писателя Телешова, богатого и радушного человека. Там мы читали друг другу свои писанія, критиковали их, ужинали. Шаляпин был у нас нередким гостем, слушал чтенія, – хотя терпеть не мог слушать, – иногда садился за рояль и, сам себе аккомпанируя, пел – то народные русскія песни, то французскія шансонетки, то Блоху, то Марсельезу, то дубинушку – и все так, что у иных «дух захватывало».

Раз, приехав на «Среду», он тотчас же сказал:

– Братьцы, петь хочу!

Вызвал по телефону Рахманинова и ему сказал то же;

– Петь до смерти, хочется! Возьми лихача и немедля пріезжай. Будем петь всю ночь.

Было во всем этом, конечно, актерство. И все-таки легко представить себе, что это за вечер был – соединение Шаляпина и Рахманинова. Шаляпин в ют вечер довольно справедливо сказал:

– Это вам не Большой театр. Меня не там надо слушать, а вот на таких вечерах, рядом с Сережей.

Так пел он однажды и у меня в гостях на Капри, в гостинице «Квисисана», где мы с женой жили три зимы подряд. Мы дали обед в честь его пріезда, пригласили Горького и еще кое-кого из капрійской русской колонии. После обеда Шаляпин вызвался петь. И опять вышел совершенно удивительный вечер. В столовой и во всех салонах гостиницы столпились все жившие в ней и множество капрійцев, слушали с горящими глазами, затаив дыханіе... Когда я как-то завтракал у него в Париже, он сам вспомнил этот вечер:

– Помнишь, как я пел у тебя на Капри? Потом завел граммофон, стал ставить напетья им в прежніе годы пластинки и слушал самого себя со слезами на глазах, бормоча:

– Не плохо пел! Дай Бог так-то вся кому!

1938 г.

#### ГОРЬКІЙ

Начало той странной дружбы, что соединяла нас с Горьким, – странной потому, что чуть не два десятилеття считались мы с ним большими друзьями, а в действительности ими не были, – начало это относится к 1899 году. А конец – к 1917. Тут случилось, что человек, с которым у меня за целых двадцать лет не было для вражды ни единого личного повода, вдруг оказался для меня врагом, долго вызывавшим во мне ужас, негодованіе. С течением времени чувства эти перегорали, он стал для меня как бы несуществующим. И вот нечто совершенно неожиданное:

– L'érivain Maxime Gorki est décédé... Alexis Pehkoff connu en littérature sous le nom Gorki, naît en 1868 Nijni-Novgorod d'une famille de cosaques...

Еще одна легенда о нем. Босяк, теперь вот казак... Как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет о многом в жизни Горького точного представлениі. Кто знает его біографію достоверно? И почему большевики, провозгласивши его величайшим геніем, издающіе его несметные писанія миллионами экземпляров, до сих пор не дали его біографії? Сказочна вообще судьба этого человека. Вот уже сколько дет міровой славы, совершенно безпримерной по незаслуженности, основанной на безмерно счастливом для ея носителя стеченіи не только политических, но и весьма многих других обстоятельств, – например, полной неосведомленности публики в его біографії. Конечно, талант, но вот до сих пор не нашлось никого, кто сказал бы наконец здраво и смело о том, что такое и какого рода этот талант, создавший, например, такую вещь, как «Песня о соколе», – песня о том, как совершенно неизвестно зачем «высоко в горы заполз уж и лег там», а к нему прилетел какой-то ужасно гордый сокол. Все повторяют: «босяк, поднялся со дна моря народнаго...» Но

никто не знает довольно знаменательных строк, напечатанных в словаре Брокгауза: «Гор'кій-Пешков Алексей Максимович. Родился в 69м году, в среде вполне буржуазной: отец – управляющий большой пароходной конторы; мать – дочь богатого купца красильщика...» дальнейшее – никому в точности не ведомо, основано только на автобиографии Гор'каго, весьма подозрительной даже по одному своему стилю: «Грамоте – учился я у деда по псалтырю, потом, будучи поваренком на пароходе, у повара Смураго, человека сказочной силы, грубости и – нежности...» Чего стоит один этот сусальный вечный Гор'ковский образ! «Смурий привил мне, дотоле лютого ненавидевшему всякую печатную бумагу, свирепую страсть к чтению, и, я до безумия стал зачитываться Некрасовым, журналом «Искра», Успенским, Дюма... Из поварят попал я в садовники, поглощал классиков и литературу лубочную. В пятнадцать лет возымел свирепое желание учиться, поехал в Казань, простодушно полагая, что науки желающим даром преподаются. Но «оказалось, что оное не принято, вследствие чего и поступил в крендельное заведение. Работая там, свел знакомство со студентами... А в девятнадцать лет пустил в себя пулью, и, прохворав, сколько полагается, ожил, дабы приняться за коммерцию яблоками... В свое время был призван к отбыванию воинской повинности, но, когда обнаружилось, что дырявых не берут, поступил в письмоводители к адвокату Ланину, однако же вскоре почувствовал себя среди интеллигентов совсем не на своем месте и ушел бродить по Югу России...»

В 92м году Гор'кій напечатал в газете «Кавказ» свой первый рассказ «Макар Чудра», который начинается на редкость пошло: «Ветер разносил по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны... Мгла осенней ночи пугливо вздрагивала и пугливо отодвигалась от нас при вспышках костра, над которым возвышалась массивная фигура Макара Чудры, старого цыгана. Полулежа в красивой свободной и сильной позе, методически потягивал он из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и говорил:

«Ведома ли рабу воля широкая? Ширь степная понятна ли? Говор морской волны веселит ли ему сердце? Эге! Он, парень, раб!» А через три года после того появился знаменитый «Челкаш». Уже давно шла о Гор'ком мольба по интеллигентам, уже многие зачитывались и «Макаром Чудром» и последующими: созданями гор'ковского пера: «Емельян Пилий», «Дед Архип и Ленька»... Уже славился Гор'кій и сатирами – например, «О чиже, любителе истины, и о дятле, который лгал», – был известен, как фельетонист, писал фельетоны (в «Самарской Газете»), подписываясь так: «Іегуділ Хламида». Но вот появился «Челкаш»...

Как раз к этой поре и относятся мои первыя сведенія о нем: в Полтаве, куда я тогда пріезжал порой, прошел вдруг слух: «Под Кобеляками поселился молодой писатель Гор'кій. Фигура удивительно красочная. Ражій детина в широчайшей крылатке, в шляпе вот с этакими полями и с пудовой суковатой дубинкой в руке...» А познакомились мы с Гор'ким весной 99-го года. Приезжаю в Ялту, иду как-то по набережной и вижу: навстречу идет с кем-то Чехов, закрываетя газетой, не то от солнца, не то от этого кого-то, идущаго рядом с ним, что-то басом гудящаго и все время высоко взмахивающаго руками из своей крылатки. Здороваюсь с Чеховым, он говорит: «Познакомьтесь, Гор'кій». Знакомлюсь, гляжу и убеждаюсь, что в Полтаве описывали его отчасти правильно: и крылатка, и вот этакая шляпа, и дубинка. Под крылаткой желтая шелковая рубаха, подпоясанная длинным и толстым шелковым жгутом кремового цвета, вышитая разноцветными шелками по подолу и вороту. Только не детина и не ражій, а просто высокий и несколько сутулый, рыжий парень с зеленоватыми, быстрыми и, уклончивыми глазами, с утиным носом в веснушках, с широкими ноздрями и желтыми усиками, которые он, покашливая, все поглаживает большими пальцами: немножко поплюет на них и погладит. Пошли дальше, он закурил, крепко затянулся и тотчас же опять загудел и стал взмахивать руками. Быстро выкурив папиросу, пустил в ея мундштук слюны, чтобы загасить окурок, бросил его и продолжал говорить, изредка быстро взглядывая на Чехова, стараясь уловить его впечатление. Говорил он громко, якобы от всей души, с жаром и все образами и все с героическими восклицаніями, нарочито грубоватыми, первобытными. Это был безконечно длинный и безконечно скучный прежде всего по своему однообразию гиперболичности, – все эти богачи были совершенно былинные исполины, – а кроме того и по неумеренности образности и пафоса. Чехов почти не слушал. Но Гор'кій все говорил и говорил...

Чуть не в тот же день между нами возникло что-то вроде дружеского сближенія, с его стороны несколько даже сентиментального, с каким-то застенчивым восхищеніем мною:

– Ви же последній писатель от дворянства, той культуры, которая дала міру Пушкина и Толстого!

В тот же день, как только Чехов взял извозчика и поехал к себе в Аутку, Горький позвал меня зайти к нему на Виноградную улицу, где он снимал у кого-то комнату, показал мне, морща нос, неловко улыбаясь счастливой, комически-глупой улыбкой, карточку своей жены с толстым, живоглазым ребенком на руках, потом кусок шелка голубенькаго цвета и сказал с этими гримасами:

– Это, понимаете, я на кофточку ей купил... этой самой женщине... Подарок везу...

Теперь это был совсем другой человек, чем на набережной, при Чехове: милый, шумливо-ломаючійся, скромный до самоуниженія, говорящій уже не басом, не с героической грубостью, а каким-то все время как бы извиняющимся, наигранно-задушевным волжским говорком с оканьем. Он играл и в том и в другом случае – с одинаковым удовольствием, одинаково неустанно, – впоследствії я узнал, что он мог вести монологи хоть с утра до ночи и все одинаково ловко, вполне; входя то в ту, то в другую роль, в чувствительных местах, когда старался быть особенно убедительным, с легкостью вызывая даже слезы на свои зеленоватые глаза. Тут обнаружились и некоторыя другія его черты, который я неизменно видел впоследствії много лет. Первая черта была та, что на людях он бывал совсем не тот, что со мной наедине или вообще без посторонних, – на людях он чаще всего басил, бледнел от самолюбія, честолюбія, от восторга публики перед ним, рассказывал все что-нибудь грубое, высокое, важное, своих поклонников и поклонниц любил поучать, говорил с ними то сурово и небрежно, то сухо, назидательно, – когда же мы оставались глаз на глаз или среди близких ему людей, он становился мил, как-то наивно радостен, скромен и застенчив даже излишне. А вторая черта состояла в его обожанії культуры и литературы, разговор о которых были настоящим коньком его. То, что сотни раз он говорил мне впоследствії, начал он говорить еще тогда, в Ялте:

– Понимаете, вы же настоящій писатель прежде всего потому, что у вас в крови культура, наследственность высокаго художественнаго искусства русской литературы. Наш брат, писатель для нового читателя, должен непрестанно учиться этой культуре, почитать ее всеми силами души, –только тогда и выйдет какой-нибудь толк из нас!

Несомненно, была и тут игра, было и то самоуниженіе, которое паче гордости. Но была и искренность – можно ли было иначе твердить одно и то же столько лет и порой со слезами на глазах?

Он, худой, был довольно широк в плечах, держал их всегда поднявши, и узкогрудо сутулясь, ступал своими длинными ногами с носка, с какой-то, – пусть простят мне это слово, – воровской щеголеватостью, мягкостью, легкостью, – я не мало видел таких походок в одесском порту. У него были большія, ласковыя, как у духовных лиц, руки. Здороваясь, он долго держал твою руку в своей, пріятно жал ее, целовался мягкими губами крепко, взасос. Скулы у него выдавались совсем по-татарски. Небольшой лоб, низко заросшій волосами, закинутыми назад и! довольно длинными, был морщинист, как у обезьяны – кожа лба и; брови все лезли вверх к волосам, складками. В выражении лица (того довольно нежнаго цвета, что бывает у рыжих) иногда мелькало нечто клоунское, очень живое, очень комическое, – то, что потом так сказалось у его сына Максима, котораго я, в его детстве, часто сажал к себе на шею верхом, хватал за ножки и до радостнаго визга доводил скачкой по комнате.

Ко времени первой моей встречи с ним слава его шла уже по всей Россії. Потом она только продолжала расти. Русская интеллигенція сходила от него с ума, и понятно почему. Мало того, что это была пора уже большого подъема русской революціонности, мало того, что Горький так отвечал этой революціонности: в ту пору шла еще страстная борьба между «народниками» и недавно появившимися марксистами, а Горький уничтожал мужика и воспевал «Челкаші», на которых марксисты, в своих революционных надеждах и планах, ставили такую крупную ставку. И вот, каждое новое произведение Горькаго тотчас делалось всероссійским событием. И он все менялся и менялся – и в образе жизни, и в обращенії с людьми. У него был снят теперь целый дом в Ніжнем Новгороде, была большая квартира в Петербурге, он часто появлялся в Москве, в Крыму, руководил журналом «Новая Жизнь», начинал издательство «Знаніє»... Он уже писал для художественного театра, артистке Книппер делал на своих книгах такіе, например, посвященія:

– Эту книгу, Ольга Леонардовна, я переплел бы для Вас в кожу сердца моего!

Он уже вывел в люди сперва Андреева, потом Скитальца и очень приблизил их к себе. Временами приближал и других писателей, но чаще всего ненадолго: очаровав кого-нибудь своим вниманием, вдруг отнимал у счастливца все свои милости. В гостях, в обществе было тяжело видеть его: всюду, где он появлялся, набивалось столько народу, не спускающего с него глаз, что протолпиться было нельзя. Он же держался все угловатее, все неестественнее, ни на кого из публики не глядел, сидел в кружке двух, трех избранных друзей из знаменитостей, свирепо хмурился, по солдатски (нарочито по-солдатски) кашлял, курил папиросу за папиросой, тянул красное вино, – выпивал всегда полный стакан, не отрываясь, до дна, – громко изрекал иногда для общаго пользовання какую-нибудь сентенцию или политическое пророчество и опять, делая вид, что не замечает никого кругом, то хмуриясь и барабаня большими пальцами по столу, то с притворным безразличием поднимая вверх брови к складки лба, говорил только с друзьями, но и с ними как-то вскользь, они же повторяли па своих лицах меняющиеся выражения его лица и, упиваясь на глазах публики гордостью близости с ним, будто бы небрежно, будто бы независимо, то и дело вставляли в свое обращение к нему его имя:

– Совершенно верно, Алексей... Нет, ты не прав, Алексей... Видишь ли Алексей... Дело в том, Алексей...

Все молодое уже исчезло в нем – с ним это случилось очень быстро, – цвет лица у него стал грубее и темнее, суще, усы гуще и больше, – его уже называли унтером, – на лице появилось много морщин, во взгляде – что-то злое, вызывающее. Когда мы встречались с ним не в гостях, не в обществе, он был почти прежний, только держался серьезнее, увереннее, чем когда-то. Но публике (без восторгов которой он просто жить не мог) часто грубил.

На одном людном вечере в Ялте я видел, как артистка Ермолова, – сама Ермолова и уже старая в ту пору! – подошла к нему и поднесла ему подарок – чудесный портсигарчик из китового уса. Она так смущилась, так растерялась, так покраснела, что у нея слезы на глаза выступили:

– Вот, Максим Алексеевич... Алексей Максимович... Вот я... вам...

Он в это время стоял возле стола, тушил, мял в пепельнице папиросу и даже не поднял глаз на нее.

– Я хотела выразить вам. Алексей Максимович...

Он, мрачно усмехнувшись в стол и, по своей привычке, дернув назад головой, отбрасывая со лба волосы, густо проворчал, как будто про себя, стих из «Книги Това»:

– «Доколе же Ты не отвратишь от меня взора, не будешь отпускать меня на столько, чтобы слюну мог проглотить я?»

А что если бы его «отпустили»?

Ходил он теперь всегда в темной блузке подпоясанной кавказским ремешком с серебряным набором, в каких-то особенных сапожках с короткими голенищами, в которых вправлял черные штаны. Всем известно, как, подражая ему в «народности» одежду, Андреев, Скитальца и прочие «Подмаксимки» тоже стали носить сапоги с голенищами, блузы и поддевки. Это было нестерпимо.

Мы встречались в Петербурге, в Москве, в Нижнем, в Крыму, – были и дела у нас с ним: я сперва сотрудничал в его журнале «Новая Жизнь», потом стал издавать свои первые книги в его издательстве «Знаніє», участвовал в «Сборниках Знанія». Его книги расходились чуть не в сотнях тысяч экземпляров, прочия; – больше всего из-за марки «Знанія», – тоже не плохо. «Знание» сильно повысило писательские гонорары. Мы получали в «Сборниках Знанія» кто по 300, кто по 400, а кто и по 500 рублей с листа, он – 1000 рублей: большая деньги он всегда любил. Тогда начал он и коллекционерство; начал собирать редкія древнія монеты, медали, геммы, драгоценные камни; ловко, кругло, сдерживая довольную улыбку, поворачивал их в руках, разглядывая, показывая. Так он и вино пил: со вкусом и с

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru  
наслажденiem (у себя дома только французское вино, хотя превосходных русских вин было в Россіи сколько угодно).

Я всегда дивился – как это его на все хватает: изо дня в день на людях, – то у него сбираще, то он на каком-нибудь сбираще, – говорит порой не умолкая, целыми часами, пьет сколько угодно, папирос выкуривает по сто штук в сутки, спит не больше пяти, шести часов – и пишет своим круглым, крепким почерком роман за романом, пьесу за пьесой! Очень было распространено убежденіе, что он пишет совершенно безграмотно и что его рукописи кто-то поправляет. Но писал он совершенно правильно (и вообще с необыкновенной литературной опытностью, с которой и начал писать). А сколько он читал, вечный полуинтеллигент, начетчик!

Всегда говорили о его редком знаніи Россії. Выходит, что он узнал ее в то недолгое время, когда, уйдя от Ланина, «бродил по югу Россії». Когда я его узнал, он уже нигде, не бродил. Никогда и нигде не бродил и после: жил в Крыму, в Москве, в Нижнем, в Петербурге... В 1905 году, после московского декабрьского восстанія, эмигрировал через Финляндію за границу; побывал в Америке, потом семь лет жил на Капри, – до 1914 года. Тут, вернувшись в Россію, он крепко осел в Петербурге... дальнейшее известно.

Мы с женой лет пять подряд ездили на Капри, провели там целых три зимы. (В это время мы с Горьким встречались каждый день, чуть не все вечера проводили вместе, сошлись очень близко. Это было время, когда он был наиболее пріятен мне.

В начале апреля 1917 года мы разстались с ним навсегда. В день моего отъезда из Петербурга он устроил огромное собраніе в Михайловском театре, на котором он выступал с «культурным» призывом о какой-то «Академіи свободных наук», потащил и меня с Шаляпіним туда. Выйдя на сцену, сказал: «Товарищи, среди нас такие-то...» Собраніе очень бурно нас приветствовало, но оно было уже такого состава, что это не доставило мне большого удовольствія. Потом мы с ним, Шаляпіним и А. Н. Бенуа отправились в ресторан «Медведь». Было ведерко с зернистой икрой, было много шампанского... Когда я уходил, он вышел за мной в коридор, много раз крепко обнял меня, крепко поцеловал...

Вскоре после захвата власти большевиками он пріехал в Москву, остановился у своей жены Екатерины Павловны и она сказала мне по телефону: «Алексей Максимович хочет поговорить с вами». Я ответил, что говорить нам теперь не о чем, что я считаю наши отношенія с ним навсегда кончеными.

1936 г.

#### ЕГО ВЫСОЧЕСТВО

Разбирая свои бумаги, нашел пакет с пометкой: «Петр Александров».

В пакете – пачка писем ко мне «Петра Александрова», затем рукопись его наброска «Одиночество», книжечка рассказов («Петр Александров. Сон. Париж. 1921 год») и еще вырезка из парижской соціалистической газеты «Дни» – статья М. А. Алданова, посвященная его кончине: он провел остаток своей жизни в эмиграции и умер на пятьдесят шестом году от рожденія, в скоротечной чахотке..

Это был удивительный человек.

Алданов называл его человеком «совершенно удивительной доброты и душевного благородства». Но он был удивителен и многими другими качествами. Он был бы удивителен ими, если бы даже был простым смертным. А в нем текла царская кровь, он, избавшій для своей литературной деятельности столь скромное имя, – Петр Александров, – в жизни носил имя куда более громкое: принц Петр Александрович Ольденбургский. Он был из рода, считающагося одним из самых древних в Европе, – последній из русской ветви принцев Ольденбургских, слившейся с родом Романовых, – был правнук Императора Павла Петровича, был женат на дочери Александра III (Ольге Александровне).

Крайнее удивленіе вызвал он во мне в первую же встречу с ним. Это было несколько лет тому назад, в Париже. Я зашел по какому-то делу в Земгор. Там, в пріемной, было множество народа и позади всех, у дверей, одиноко стоял какой-то пожилой человек, очень высокій и на редкость худой, длинный, похожій на военного и

штатском. Я прошел мимо него быстро, но сразу выделил его из толпы. Он терпеливо ждал чего-то, стоял тихо, скромно, но вместе с тем так свободно, легко, прямо, что я тотчас подумал: «Какой-нибудь бывший генерал...» Я мельком взглянул на него, на мгновение испытал то пронзительное чувство, которое нередко испытываешь теперь при виде некоторых пожилых и бедных людей, знавших когда-то богатство, власть, знатность: он был очень чисто (по военному чисто) выбрит и вымыт и точно так же чист, аккуратен и в одежде, очень простой и дешевой: легкое непромокаемое пальто неопределенного цвета, бумажные воротнички, грубые ботинки военного английского образца... Меня удивил его рост, его худоба, – какая-то особенная, древняя, рыцарская, в которой было что-то даже как бы музейное, – его череп, совсем голый, маленький, породистый до явных признаков вырождения, сухость и тонкость красноватой, как бы слегка спаленной кожи на маленьком костлявом лице, небольшие подстриженные усы тоже красно-желтаго цвета и выцветшие глаза, скорбные, тихие и очень серьезные, под треугольно поднятыми бровями (вернее, следами бровей). Но удивительнее всего было то, что произошло вслед за этим: ко мне подошел один из моих знакомых и, чему-то улыбаясь, сказал:

– Его Высочество просит позволенія представиться вам.

Я подумал, что он шутит: где же это слыхано, чтобы высочества и величества просили позволенія представиться!

– Какое высочество?

– Принц Петр Александрович Ольденбургский. Разве вы не видели? Вон он, стоит у двери.

– Но как же это – «просит позволенія представиться»?

– Да видите ли, он вообще человек какой-то совсем особенный...

А затем я узнал, что он пишет рассказы из народного быта в духе толстовских народных сказок. Вскоре после нашего знакомства он пріехал ко мне и привез ту самую книжечку, на счет которой и ходил в Земгор, печатая ее на свои средства в типографії Земгора: три маленьких рассказа под общим заглавіем «Сон». Алданов, упоминая об этих рассказах, говорит:

«Средневековые хроники с ужасом говорят о кровавых делах рода Ольденбургских... Один из Ольденбургских, Эгильмар, был особенно знаменит своей свирепостью... А потомок этого Эгильмара и правнук императора Павла Петровича писал рассказы из рабочей и крестьянской жизни, незадолго до кончины выразил желание вступить в Народно-Социалистическую партию! Разные были в России великие князья. Были и такие, что в 1917 году оказались пламенными республиканцами и изумляли покойного Родзянко красной ленточкой в петлице. Принц Ольденбургский не нацеплял на себя этой ленточки.

Тесная дружба, закрепленная в детстве, в день 1-го марта 1881 года» – день убийства императора Александра II, – связывала его с Николаем II – и едва ли кто другой так безкорыстно любил Николая II. Но политику его он всегда считал безумной. Он пытался даже «переубедить» царя и, не доверяя своей силе убеждения, хотел сблизить его с Толстым. Это одно уже дает представление об образе мысли и о душевном облике Ольденбургского. В нем не было ничего от «красного принца», от обязательного для каждой династии Филиппа Эгалитэ. Он никогда не гонялся и не мог гоняться за популярностью, которую было нетрудно пріобрести в его положении...»

Рассказы его были интересны, конечно, только тем, что тоже давали представление о его душевном облике». Он писал о «золотых» народных сердцах, внезапно прозревающих после дурмана революции и страстно отдающихся Христу. Его заветам братской любви между людьми, – «единственного спасения мира во всех его страданиях», – писал горячо, лирически, но совсем неумело, наивно. Он, впрочем, и сам понимал это и, когда мы сошлись и подружились, не раз говорил мне со всей трогательностью своей безмерной скромности:

– Прости, ради Бога, что все докучаю тебе своими писаніями. Знаю, что это даже дерзко с моей стороны, знаю, что пишу я как ребенок... Но ведь в этом вся моя жизнь теперь. Пишу мало, редко, все больше только мечтаю, только собираюсь писать. Но мечтаю день и ночь и все-таки надеюсь, что напишу наконец что-нибудь

путное...

достаточно удивительно для принца царской крови и его «Одиночество». В нем есть такие строки:

– «Конец сентября. Погожій день. Кругом полосы изумрудных зеленей, желтаго жнивья, черных взметов; тихо летают нити серебряной паутины, темнеют еще не успевшія облететь дубравы, далеко, между островами лесов, белеют церкви. Я верхом. На рыску две борзые собаки, белый кобель и красная; сука, идут у самых ног лошади. Кабардинец, слегка покачиваясь, мягко ступает по ровным зеленям. Я постепенно погружаюсь в какую-то полудремоту. Поводья выпали из рук, лежат, свесившись с шеи лошади; я не поднимаю их, боясь пошевелиться, чтобы не нарушить охватившего все мое существо блаженного оцепененія...»

– «Из-под ног лошади выскакивает русак, лошадь вздрагивает, я невольно хватаюсь за поводья. «Ату его, ату его!» – что есть силы кричу я, скака за собаками белый кобель достает его, сшибает на зеленя...»

«еду проселком. Собаки, высунувши языки, тяжело дыша, идут позади лошади. Постепенно угас травли проходит. Вспоминаю об охватившей меня сладкой дремоте, стараюсь снова привести себя в то же состояніе, но напрасно... Зачем не слышу я Ея звонкаго смеха, не вижу Ея больших добрых глаз, Ея ласковой улыбки? Неужели навсегда, на всю жизнь разлука, одиночество?»

– «Въезжаю в село. Весело гудят молотилки, хлопают о землю цепы... Недалеко от церкви, на выгоне, останавливаюсь около закоптелой кузницы: – Семен, а Семен, несколько раз повторяю я, не слезая с лошади. – Из сарайя выходит маленький плотный мужик, подходит к лошади, здоровается, ласково глядит на меня снизу вверх, улыбается.

– Здравствуй, Семен. Не зайдешь ли сегодня ко мне вечерком посидеть, побеседовать? – робко, почти с мольбой спрашиваю я его, боясь отказа. – Что ж, зайду, спасибо, – отвечает он просто, теребя второченного русака...»

– «Недалеко за селом моя усадьба. Грустно стоит заколоченный белый дом с колоннами и мезонином, направо конюшни, налево – флигельче, в котором поселился я. Меня встречает старик рабочій. Я слезаю с лошади, он берет ее под уздцы, уводит в конюшню. Вхожу во флигель. Выпиваю несколько рюмок водки, наскоро обедаю. Сажусь в кресло, стараюсь читать, но не могу прочесть и страницы... Подхожу к окну, гляжу на двор, на заколоченный дом, иду к столу, наливаю стакан водки, залпом выпиваю...»

Зная, что в этих строках нет ни одного слова выдумки, трудно читать их, не качая головой: какой странный человек! А что выдумки в них нет, об этом он сам говорил мне. Написав «Одиночество», он особенно просил меня помочь ему напечатать его где-нибудь со своей обычной детской простосердечностью и застенчивостью:

– Не скрою от тебя, это мне доставило бы большую радость. Мне набросок очень дорог, потому что в нем, прости за интимность, все правда, – то, что пережито мной лично и что очень мучило меня когда то... то есть, тогда, когда мы разошлись с Олей... с Ольгой Александровной...

Перечитывая эти строки, опять задаю себе все тот же вопрос, который постоянно приходит мне в голову при воспоминаніи о покойном: но кто же, в конце концов, был этот принц, робко просившія кузнеца провести с ним вечер, человек, с истинно святой простотой называвшій при посторонних Николая II – Колей? (да, однажды, на одном вечере у одного нашего знакомаго, где большинство гостей были старые революціонеры, он, слушая их оживленную беседу, совершенно искренно воскликнул: «Ах, какие вы все милые, прелестные люди! И как грустно, что Коля никогда не бывал на подобных вечерах! Все, все было бы иначе, если бы вы с ним знали друг друга!»). Ответить на этот вопрос, – что за человек был он, – я точно никогда не мог. Не могу и теперь. Некоторые называли его просто «ненормальным». Все так, но ведь и святые, блаженные были «ненормальны»...

Письма ко мне тоже очень рисуют его. Привожу некоторые строки из них:

– ... Я поселился в окрестностях Байоны, на собственной маленькой ферме, занимаюсь хозяйством, завел корову, кур, кроликов, копаюсь в саду и в огороде... По субботам

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru  
езжу к родителям, которые живут неподалеку, в окрестностях Сэн-Жан-дэ-Люз... давно ничего не писал; даже не могу кончить начатого еще летом рассказа; когда кончу, пришлю его Тебе с просьбой подвергнуть самой строгой критике... Очень соскучился по парижским знакомым... Переношусь мысленно в вашу парижскую квартиру: как было мне уютно у вас и как хорошо говорилось! Никогда не забуду вашего более чем доброго отношения ко мне... (1921 г.)

— ... Спасибо Тебе, большое за ласковое, доброе и милое письмо! Радуюсь от души, что Ты опять принялся за работу. Ты пишешь, что вы собираетесь на юг, что в Париже дорого и холодно... Презжайте в наши края, тут и теплее и дешевле. Этим летом, прежде чем поселиться на ферме, я два раза останавливался в одном пансиончике в предместье Сэн-Жан-дэ-Люз. Платил двадцать франков за все, стол отличный, комнаты, конечно, далеко не роскошны, но чисты и прятны, хозяйки, мать и две дочери, баски, потомки знаменитого китолова, патриархальны, симпатичны, я чувствовал себя у них, как дома... (1921 г.)

... Здесь стояли холода, теперь наступила дождливая погода, море бушует... Настроение у меня не радостное, хочется поскорее весны, думается, что с ней пройдет и тоска. Сегодня начал писать, но что то не пишется, не нахожу слов для выражения мысли, изображения картины... (1922 г.)

... Своим письмом Ты меня несказанно обрадовал. Спасибо Тебе большое за все, что Ты для меня сделал... Начал писать задуманную повесть, но пишу с большим трудом. Погода ужасная, бури, дождь; может быть, с весной, с солнцем станет на душе легче, а пока тоска и страшно одиноко... Очень прошу Тебя не отказать сообщить мне, когда будет напечатан мой рассказ в «Сполохах» и где можно купить этот журнал? С нетерпением жду свидания с Тобой в Париже... (1922 г.)

В сущности я знал его мало: встречал не часто, — мы все жили в разных местах, — до эмиграции даже не видел никогда, сведенений о его прежней жизни, в России, имею немного:

До войны он, в чине генерала-майора, командовал стрелками императорской фамилии... в 1917 году вышел в отставку и поселился в деревне, в Воронежской губернии, где мужики — тоже довольно странная история — предлагали ему кандидатуру в Учредительное Собрание... потом, с наступлением террора, бежал во Францию и большей частью жил по соседству со своим отцом Александром Петровичем Ольденбургским, на этой ферме под Байоной (кстати сказать, он завещал своему бывшему денщику, тоже бежавшему вместе с ним из России и неотлучно находившемуся при: нем почти до конца его жизни в качестве и слуги и друга)... Неизвестен мне полностью и его характер, — Бог выдает, может быть, были; в нем кроме тех черт, которых знал я, и другая какая-нибудь. Я же знал только прекрасные: эту действительно «совершенно исключительную добродать», это «душевное благородство», равное которому надо днем с огнем искать, необыкновенную простоту и деликатность в обращении с людьми, редкую нежность в дружбе, горячее и неустанное стремление ко всему, что дает человеческому сердцу мир, любовь, свет и радость...

Сперва он жил под Парижем, — и тут мы встречались чаще всего, — потом, как уже сказано выше, под Байоной. Потом он неожиданно, к общему нашему изумлению, вторично женился: встречаю его как то в нашем консульстве (это было еще до признания Францией большевиков, тогда, когда Посольство на улице Гренельль еще оставалось в нашем эмигрантском распоряжении) и вдруг он как-то особенно нежно обнимает меня и говорит: «Не дивись, я тебя представляю сейчас моей невесте... Мы с ней пришли сюда как раз по нашему делу, насчет исполнения разных формальностей, нужных нам для свадьбы...» Брачная жизнь его продолжалась, однако, опять недолго. Недолго после, того и прожил он. Через год, пріехав весной искать дачу в Вансе (возле Ниццы), мы с женой вдруг встретили его там: одиноко сидит возле кафе на площади, увидав нас удивленно вскакивает, спешит навстречу:

- Боже, как я рад! Вот не чаял!
- А ты зачем и почему здесь?

Он махнул рукой и заплакал:

— Видишь: даже не смею обнять тебя и поцеловать руку Вере Николаевне, у меня внезапно открылась чахотка, послали сюда лечиться, спасаться югом...

Юг ему не помог. Он переехал в Париж, жил свою последнюю зиму в санаторії. Но не помогла и санаторія: к весне его опять перевезли на Ривьеру, где он вскоре и скончался – в бедности, в полном одиночестве...

Той зимой он в последний раз посетил меня. Попросил письмом позволенія пріехать. «Умоляю Тебя, как только это будет Тебе возможно, назначь мне свиданіе по очень важному для меня делу...» И вскоре, как то вечером, пріехал – едва живой, задыхающейся, весь облитый дождем. И дело его оказалось такое, что мне и теперь больно вспоминать о нем: его хотели взять в опеку, объявить умалишенным (все из за того, что он подписал ферму под Байоной своему денщику), и вот он приехал просить меня написать куда-то удостовереніе, что я нахожу его в здравом уме и твердой памяти...

– Но, дорогой мой, помилуй, какое же может иметь значеніе мое удостовереніе?

– Ах, ты не знаешь: очень большое! Если можешь, пожалуйста, напиши!

Я, конечно, написал. Но вскоре смерть освободила его от всех наших удостоверений.

Гроб его стоит теперь в подземелье русской церкви в Каннах, ожидая Россіи, успокоенія в родной земле.

1931 г.

#### КУПРИН

Это было давно – когда я только что узнал о его существованіи, впервые увидал в «Русском Богатствѣ» его имя, которое все тогда произносили с ударением на первом слоге, и этим ударением, как я видел э то впоследствіи, почему-то так оскорбляли его, что он, как всегда в минуты гнева, по звериному щурил глаза, и без того небольшие, и вдруг запальчиво бормотал своей обычной армейской скороговоркой, ударяя на последній слог:

– Я – Куприн и всякаго прошу это помнить. На ежа садиться без штанов не советую.

Сколько в нем было когда-то этого зверинаго – чего стоит одно обоняніе, которым он отличался в необыкновенной степени! И сколько татарского! Насчет многаго, что касалось его личной жизни, он был очень скрытен, так что, несмотря на всю нашу большую и такую долгую близость, я плохо знаю его прошлое. Знаю, что он учился в Москве, сперва в кадетском корпусе, потом в Александровском военном училище, недолгое время был офицером, на русско-австрійской границе, а затем чем только не был! Изучал зубоврачебное дело, служил в каких-то конторах, потом на каком-то заводе, был землемером, актером, мелким журналистом...

Кто был его отец? Кажется, военный врач, благодаря чему Александр Иванович и попал в кадетскій корпус. Знаю еще, что он рано умер и что вдова его оказалась в такой бедности, что принуждена была жить в московском «Вдовьем доме». Про, ее знаю, что, по происхождение, она была княжна с татарской фамиліей, и всегда видел, что Александр Иванович очень гордился своей татарской кровью. Одну пору (во время своей наибольшей славы) он даже носил цветную тюбетейку, бывал в ней в гостях и, в ресторанах, где садился так широко и важно, как пристало бы настоящему хану, и особенно узко щурил глаза. Это была пора, когда издатели газет, журналов и сборников на лихачах гонялись за ним по этим ресторанам, в которых он проводил дни и ночи со своими случайными и постоянными собутыльниками, и униженно умоляли его взять тысячу, две тысячи рублей авансом за одно только обещаніе не забыть их при случае своей милостью, а он, грузный, большеголовый, только щурился, молчал и вдруг отрывисто кидал таким зловещим, шепотом: «геть сю же минуту к чертовой матери!», что робкіе люди сразу словно сквозь землю проваливались. Но даже и тогда, в эту самую плохую его пору, много было в нем и совсем другого, столь же характерного для него: наряду с большой гордостью много неожиданной скромности, наряду с дерзкой запальчивостью много доброты, отходчивости, застенчивости, часто принимавшей какую-то даже жалостную форму, много наивности, простодушія, хотя порой и наигранного, много мальчишеской веселости и того милаго однообразия с которым он все изъяснялся в своей постоянной любви к собакам, к рыбакам, к цирку, к Дурову, к Поддубному – и

к Пушкину, к Толстому, – тут он, впрочем, неизменно говорил только о лошади Вронского, о «прелестной, божественной фру-фру», – и еще к Киплингу. В последніе годы критики не раз сравнивали его самого с Киплингом. Сравнивали, разумеется, неудачно, – Киплинг возвышался в некоторых своих вещах до подлинной геніальности, Киплинг был настолько велик, как поэт, и настолько своеобразен, един в своем роде, что кого же можно с ним сравнить? Но что Куприн мог любить его, вполне естественно.

Я поставил на него ставку тотчас после его первого появленія в «Русском Богатстве» и потому с радостью услыхал однажды, гостя у писателя Федорова в Люстдорфе, под Одессой, что к нашим сожителям по даче Карышевым пріехал писатель Куприн, и немедля пошел с Федоровым знакомиться с ним. Лил дождь, но все-таки дома мы его не застали, – «он верно, купается», сказали; нам. Мы сбежали к морю и увидали неловко вылезающего из воды невысокаго, слегка полнаго и розового телом человека лет тридцати, стриженного каштановым ежиком, близоруко разглядывающего нас узкими глазами. – «Куприн?» – «да, а вы?» – Мы назвали себя, и он сразу просіял дружеской улыбкой, энергично покал наши руки своеї небольшой рукой (про которую Чехов сказал мне однажды: «Талантливая рука!»). После знакомства мы сошлись с ним удивительно быстро, – в нем тогда веселости, и добродушія было так много, что на всякий вопрос о нем, – кроме того, что касалось его семьи, его детства, – он отвечал с редкой поспешностью и готовностью своей отрывистой скороговоркой: «Откуда я сейчас? Из Киева... Служил в полку возле австрійской границы, потом полк бросил, хотя званіе офицера считаю самым высоким... Жил и охотился в Полесье, – никто даже себе и представить не может, что такое охота на глухарей перед разсветом! Потом за гроши писал всякія гнусности для одной кievской газетки, ютился в трубобах среди самой последней сволочи... Что я пишу сейчас? Ровно ничего, – ничего не могу придумать, а положеніе ужасное – посмотрите, например: так разбились штиблеты, что в Одессу не в чем поехать... Слава Богу, что милые Карышевы пріютили, а то бы хоть красть...»

В это чудесное лето, в южныя теплыя звездныя ночи мы с ним без конца скитались и сидели на обрывах над бледным летаргическим морем, и я все приставал к нему, чтобы он что-нибудь написал, хотя бы просто для заработка.

– «Да меня же никуда не примут», жалостливо скучил он в ответ. – «Но ведь вы уже печатались!» – «да, а теперь, чувствуя, напишу такую ерунду, что не примут». – «Я хорошо знаком с давыдовой, издательницей «Міра Бож'яго», – ручаюсь, что там примут». – «Очень благодарю, но что ж я напишу? Ничего не могу придумать!» – «Вы знаете, например, солдат, – напишите что-нибудь о них. Например, как какой-нибудь молодой солдат ходит ночью на часах и томится, скучает, вспоминает деревню...» – «Но я же не знаю деревни!» – «Пустяки, я знаю, давайте придумывать вместе...» – Так и написал он свою «Ночную смену», которую мы послали в «Мір Божій», потом еще какой-то рассказик, который я немедленно отвез в Одессу, в «Одесскія Новости», – сам он почему-то «ужасно боялся», – и за который мне удалось тут же схватить для него 25 рублей авансом. Он ждал меня на улице и, когда я выскочил к нему из редакції с двадцатипятирублевкой, глазам своим не поверил от счастья, потом побежал покупать себе «штиблеты», потом на лихаче помчал меня в приморскій ресторон «Аркадію» угощать жареной скунбрієй и белым бессарабским вином... Сколько раз, сколько лет и какой бешеною скороговоркой кричал он мне во хмелю впоследствії:

– Никогда не прошу тебе, как ты смел мне благодетельствовать, обувать меня, нищаго, босого!

Странно вообще шла наша дружба в теченіе целых десятилетій: то бывал он со мной нежен, любовно называл Ричардом, Альбертом, Васей, то вдруг озлоблялся, даже трезвый: «Ненавижу, как ты пишешь, у меня от твоей изобразительности в глазах рябит. Одно ценю, ты пишешь отличным языком, а кроме того отлично верхом ездишь. Помнишь, как мы закатывались в Крыму в горы?» Про хмельного я уж и не говорю: во хмелю, в который он впадал, несмотря на все свое удивительное здоровье, от одной рюмки водки, он лез на ссоры чуть не со всяким, кто попадался ему под руку. Дикая горячность его натуры была вообще совершенно поразительна, равно как и переменчивость настроеній. Чем больше я узнавал его, тем все больше думал, что нет никакой надежды на его мало-мальски правильную, обыденную жизнь, на планомерную литературную работу: мотал он свое здоровье, свои силы и способности с расточительностью невероятной, жил где попало и как попало с бесшабашностью человека, которому все трын трава...

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru

Первые годы нашего знакомства чаще всего мы встречались в Одессе, и тут я видел, как он опускается все больше и больше, дни проводит то в порту, то в самых низких кабачках и пивных, ночует в самых страшных номерах, ничего не читает и никем не интересуется, кроме портовых рыбаков, цирковых борцов и клоунов... В ту пору он особенно часто говорил, что «писателем он стал совершенно случайно, хотя с великой страстью, даже сладострастіем придавался при встречах со мной смакованіем всяких остріх художественных наблюденій и очень часто проявлял какія-то едкія душевна склонності – охоту, например, к издевательству над людьми; «Взять какого-нибудь болвана, часто говорил он с упоением, взять какую-нибудь самолюбиву бездарность и одурочить ее самими безстыдными похвалами, вообще всячески «развертеть» ее, – да что же может быть слаще этого?»

Потом в жизни его вдруг выступил резкій перелом: он попал в Петербург, вошел в близость с литературной средой, неожиданно женился на дочери Давыдовой, в дом которой я ввел его, стал хозяином «Міра Божъяго», потому что Давыдова умерла через несколько дней после того, как он совершенно внезапно сделал предложение ея дочери, жить стал в достатке, с замашками барина, все больше делаясь своим человеком и в высших литературных кругах, главное же, стал много писать и каждой своей новой вещью завоевывал себе все большій успех. В эту пору он написал свои лучшія вещи: «Конокрад», «Болото», «Трус», «Река Жизни», «Гамбринус»... Когда появился его «Поединок», слава его стала особенно велика...

Восемнадцать лет тому назад, когда мы жили с ним и его второй женой уже в Париже, – самыми близкими соседями, в одном и том же доме, – и он пил особенно много, доктор, осмотревший его, однажды твердо сказал нам:

«Если он пить не бросит, жить ему осталось не больше шести месяцев». Но он и не подумал бросить пить и держался после того еще лет пятнадцать, «молодцом во всех отношениях», как говорили некоторые. Но всему есть предел, настал конец и редким силам моего друга: года три тому назад, приехав с юга, я как-то встретил его на улице и внутренне ахнул: и следа не осталось от прежняго Куприна! Он шел мелкими, жалкими шагами, плелся такой худенький, слабенький, что, казалось, первый, порыв ветра сдует его с ног, не сразу узнал меня, потом обнял с такой трогательной нежностью; с такой грустной кротостью, что у меня слезы навернулись на глаза. Как-то я получил от него открытку в две-три строчки, – такие крупные, дрожащія каракули и с такими нелепыми пропусками букв, точно их выводил ребенок... Все это и было причиной того, что за последние два года я не видел его ни разу, ни разу не навестил его: да простит мне Бог – не в силах был видеть его в таком состояніи...

Прошлым летом, проснувшись утром под Парижем в поезде, на возвратном пути из Италии, и развернув газету, поданную мне вагонным проводником, я был поражен совершенно неожиданным для меня известіем:

«Александр Иванович Куприн возвратился в СССР...»

Никаких политических чувств по отношению к его «возвращению» я, конечно, не испытал. Он не уехал в Россію, – его туда увезли, уже совсем больного, впавшаго в младенчество. Я испытал только большую грусть при мысли, что уже никогда не увижу его больше.

Перечитывая Куприна, думая, между прочим, о времени его славы, вспоминаю его отношение к ней. Другіе – Гор'кій, Андреев, Шаляпин – жили в непрестанном упоеніи своими славами, в непрерывном чувствованіи их не только на людях, на всяких публичных собраніях, но и в гостях, друг у друга, в отдельных кабинетах ресторанов, – сидели, говорили, курили с ужасной неестественностью, каждую минуту подчеркивали избранность своей компаниі и свою фальшивую дружбу этими к каждому слову прибавляемыми «ты, Алексей, ты, Леонид, ты, Федор...» А Куприн, даже в те годы, когда мало уступал в россійской славе Гор'кому, Андрееву, нес ее так, как будто ничего нового не случилось в его жизни. Казалось, что он не придает ей ни малейшаго значенія. Дружит, не разстается только с прежними и новыми друзьями и собутыльниками вроде пьяницы и бояка Маныча. Слава и деньги дали ему, казалось, одно – уже полную свободу делать в своей жизни то, чего моя нога хочет, жечь с двух концов свою свечу, посыпать к чорту все и вся.

– Я не честолюбив, я самолюбив, – как-то сказал я ему по какому-то поводу.

– А я? – быстро спросил он. И на минуту задумался, сощурив, по своему обыкновенію, глаза и пристально вглядываясь во что-то вдали. Потом зачастил своей армейской скороговоркой: – да, я тоже. Я самолюбив до бешенства и от этого застенчив иногда до низости. А на честолюбие не имею даже права. Я писателем стал случайно, долго кормился чем попало, потом стал кормиться рассказишками, – вот и вся моя писательская исторія...

Он это часто повторял – «я стал писателем случайно». Это, конечно, не правда, опровергается его же собственными автобіографическими признаніями в «Юнкерах». Но вот что правда – это то, что, выйдя из полка и кормясь потом действительно чем попало, он кормился между прочим при какой-то кіевской газетке не только журнальной работой, но и «рассказишками». Он мне говорил, что эти «рассказишки» он сбывал «за сущіе гроши, но очень легко», а писал «на бегу, на лету, посвистывая» и ловко попадая, по своей талантливости, во вкус редактору и читателям. И с той же ловкостью он продолжал писать – уже не для кіевской газетки, а для толстых журналов.

Я сказал: «по своей талантливости». Нужно сказать сильней – большой талантливости. Всем известно, в какой среде он рос, где и как провел свою молодость и с какими людьми общался всю свою последующую жизнь. А что он читал? И где и когда? В своем автобіографическом письме к критику Измайловой он говорит:

– Когда я вышел из полка, самое тяжелое было то, что у меня не было никаких знаній, ни научных, ни житейских. С ненасытимой и до сей поры жадностью я накинулся на жизнь и на книги...

Но надолго ли накинулся он на книги (если только правда, что «накинулся»)? Во всяком случае слова «и до сей поры» – весьма сомнительны. Все его развитие, все образованіе совершалось тоже «на лету», давалось ему и усваивалось им по его способностям легко, следствием чего и вышло то, что в смысле – как бы это сказать? – интеллигентности, что ли, – уровень его произведений был вполне обычный. Нужно помнить еще и то, что он всю жизнь пил, так что даже удивительно, как он мог при этом писать, да еще нередко так ярко, крепко, здраво, вообще в полную противоположность с тем, как он жил, каким был в жизни, а не в писательстве.

Как он жил, каким он был в жизни, известно. И вот что замечательно: та разница, которая была между тем, как он жил и как писал. Критики без конца говорили о необыкновенной «стихійности», «непосредственности» его произведений, о той «первичности переживаний», которыми они пленяют». Читаешь о нем и сейчас то же самое; «Помешали Куприну стать великим писателем только стихійность его дарованій и истинно русская небережливость, слишком большое доверіе к «нутру», в ущерб законченности и отделанности во всех смыслах... то, что он «не кончил консерваторії», как говорили символисты о бытовиках... в своем творчестве Куприн, по самой природе своей, не книжный человек, не вдохновлялся литературными сюжетами... Ни в нем, ни в его героях не было двойственности...» Все это требует больших оговорок. Точно ли не было двойственности в нем? Жил он действительно «стихійно», «непосредственно», «по нутру» – тут ему и впрямь всякое море было по колено, тут он так не ценил ни своего тела, ни ума, ни сердца, ни своей репутаціи, что был и еще долго будет притчей во языцах. А каким был как писатель? Нет, «консерваторію» он проходил (это уже другое дело, какую именно). И в силу его талантливости, той быстроты, с которой он набивал руку в писательстве, далеко не все шло ему на пользу тут.

Это еще мелочи, – то, что не мало было в его рассказах даже и средней поры его писательства таких пошлых выражений, как «шикарная женщина», «шикарный ресторан», «железный закон борьбы за существование», «его нежная, почти женственная натура содрогалась от грубых прикосновений действительности с ея бурными, но суровыми нуждами», «стройная, грациозная фигура Нины, лицо которой обрамляли пряди пепельных волос, неотступно носилась перед его умственным взором...» Это еще полбеды, – беда в том, что в талантливость Куприна входил большой дар заражаться и пользоваться не только мелкими шаблонами, но и крупными, не только внешними, но и внутренними. И выходило так: требуется что-нибудь подходящее для кіевской газетки? пожалуйста, – в пять минут сделаю и, если нужно, не побрезгаю писать вроде того, что «заходящее солнце косыми лучами освещало вершины деревьев...»; надо писать разсказ для «Русского Богатства»? И за этим дело не постоит, – вот нем «Молох»:

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru  
Заводскій гудок протяжно ревел, возвещая начало рабочаго дня. Густой, хриплый звук, казалось, выходит из-под земли и низко разстилался по ея поверхности...»

Разве плохо для вступлення в смысле литературности? Все честь честью – вплоть до пошлого ритма этих двух предложений, который едва ли уступит ритму фразы о заходящем солнце с его косыми лучами. Все как надо и дальше, есть все, что требуется по образцам даннаго времени, и все, что полагается для рассказа о «Молохе»: «Нужная, почти женственная натура» болезненно-нервнаго интеллигента, инженера Боброва, который доходит на своей, «страдальческой» службе капитализму до морфинизма, «акула» капитализма Квашнин, выдающій замуж за своего служащаго, подагро карьериста, эту «стройную, граціозную» Нину, дочь другого заводскаго служащего и возлюбленную Боброва, с целью сделать ее своей любовницей, бунт доведенных до отчаянія голодом и холодом рабочих, пожар завода...

Я всегда помнил те многія большія достоинства, с которыми написаны его «Конокрады», «Болото», «На покое», «Лесная глушь», «Река жизни», «Трус», «Штабс-капитан Рыбников», «Гамбринус», чудесные рассказы о Балаклавских рыбаках и даже «Поединок» или начало «Ямы», но всегда многое задавало меня даже и в этих рассказах. Вот, например, в «Реке. жизни», предсмертное письмо застрелившагося в номерах «Сербія» студента: «Не я один погиб от моральной заразы... Все прошлое поколение выросло в духе набожной тишины, насильственного почтенія к старшим, безличности и безгласности. Будь же проклято это подлое время, время молчанія и нищенства, это благоденственное и мірное житіе под безмолвной сенью благочестивой реакції!» Это ли не «литература»? Потом я долго не перечитывал его и, когда теперь решил перечесть, тотчас огорчился: я сперва стал только перелистывать его книги и увидал на них множество моих давнишних карандашных отметок. Вот кое-что из того, что я отмечал:

- Это была страшная и захватывающая картина (картина завода). Человеческій труд кипел здесь, как огромный и прочный механизм. Тысяча людей собрались сюда с разных концов земли, чтобы, повинуясь железному закону борьбы за существование, отдать свои силы, здоровье, ум и энергію за один только шаг вперед промышленного прогресса... («Молох»)
- Весь противоположный угол избы занимала большая печь, и с нея глядели, свесившись вниз, две детскія головки с выгоравшими на солнце волосами... В углу перед образом, стоял пустой стол, и на металлическом пруте спускалась с потолка висячая убогая лампа с черным от копоти, стеклом. Студент присел около стола, и тотчас ему стало скучно и тяжело, как будто он пробыл здесь много, много часов в томительном и вынужденном бездействіи...
- Окончив чай, он (мужик) перекрестился, перевернул чашку вверх дном, а оставшійся крошечный, кусочек сахара бережливо положил обратно в коробочку...
- В оконное стекло билась и настойчиво жужжала муха, точно повторяя все одну и ту же докучную, безконечную жалобу...
- К чему эта жизнь? – говорил он (студент) со страстными слезами на глазах. – Кому нужно это жалкое, нечеловеческое прозябаніе? Какой смысл в болезнях и смертях милых, ни в чем не повинных детей, у которых высасывает кровь уродливый болотный кошмар... («Болото»).
- Станный звук внезапно нарушил глубокое ночное молчаніе... Он пронесся по лесу низко, над самой землею, и стих... («Лесная глушь»).
- Он открывал глаза и фантастическіе звуки превращались в простой скрип полозьев, в звон колокольчика на дышле; и по-прежнему разстилались и налево и направо спящія белые поля, по-прежнему торчала перед ним черная, согнутая спина очередного ямщика, по-прежнему равномерно двигались лошадиные крупы и мотались завязанные в узел хвосты...
- Позвольте представиться: местный пристав и, так сказать, громовержец, Ирисов, Павел Афиногенович... («Жидовка»).

Право, трудно было не отмечать все эти тысячу раз петья и перепетья, обязательно «свешивающіяся с печки» детскія головки, этот вечный огрызок сахара, муhi, которая «точно повторяла докучную жалобу», чеховскаго студента из «Болота», тургеневскій «станный звук, внезапно пронесшійся по лесу», толстовскую дремоту

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru  
в санях («по-прежнему равномерно двигались лошадиные крупы...»), этого громовержца пристава, фамилія которого уж непременно Ирисов или Гіацінтов, а отчество Афиногенович или Ардаліонович – и опять это самое что ни на есть чеховское в «Мелюзге»: разговоры затерянных где-то в северных снегах учителя и фельдшера:

– Иногда учителю начинало казаться, что он, с тех пор, как помнит себя, никуда не выезжал из Курши... что он только в забытой сказке или во сне слышал про другую жизнь, где есть цветы, сердечные, вежливые люди, умные книги, женские нежные голоса и улыбки...

– Я всегда, Сергей Фирсыч, думал, что это хорошо – приносить свою, хоть самую малюсенькую пользу, – говорил учитель фельдшеру. – Я гляжу, например, на какое-нибудь прекраснейшее зданіе на дворец или собор, и думаю: пусть имя архитектора останется бессмертным на веки вечные, я радуюсь его славе и я совсем ему не завидую. Но ведь и незаметный каменщик, который тоже с любовью клал свой кирпич и обмазывал его известкой, разве он также не может чувствовать счастья и гордости? И я часто думаю, что мы с тобой – крошечные люди, мелюзга, но если человечество станет когда-нибудь свободным и прекрасным...

В рассказе «Нарцыс» я отметил описание светского салона, какую-то баронессу и ея пріятельницу Бэтси, – да, это уж неизбежно: Бэтси – и грозовой вечер, – «в густом, раскаленном воздухе чувствовалась надвигающаяся гроза», – и тот первый поцелуй влюбленных, который уже тысячу раз соединяли, писатели с «надвигающейся грозой»... В «Яме» отметил то место, где «огоньки зажглись в «зеленых длинных египетских глазах артистки», пеніе которой так потрясло девиц публичного дома, что даже сам автор воскликнул совершенно серьезно: «Такова власть генія!»

Потом я стал читать дальше, взял первую попавшуюся под руку книгу, прочел первый рассказ и огорчился еще больше. Книга эта начинается рассказом «На разъезде». Содержаніе его таково: едут по железной дороге в одном и том же купе случайно встретившіся в пути какой-то молодой человек, молодая женщина, у которой была «тоненькая, изящная фигурка и развевающіяся пепельные волосы», и ея муж, гнусный старик чиновник, изображенный крайне ядовито: «Господин Яворскій не умел и не мог ни о чем говорить, кроме своей персоны, собственных ревматизмов и геморроев и на жену смотрел, как на благопріобретенную собственность...» Этот старик день и ночь наставляет, пилит свою несчастную «собственность», ревнует ее к молодому человеку, говорит и ему грубости и, тем самым еще более раздувает загоравшуюся между молодыми людьми любовь, в которой они в конце концов и признаются друг другу на остановке на каком-то разъезде где их поезд оказывается рядом с другим, встречным, поездом, а признавшись, побегают в этот поезд, решив бросить старика и соединиться навеки. Тут молодой человек страстно воскликнул: «Навсегда? На всю жизнь?» И молодая женщина «вместо ответа спрятала свое лицо у него на груди»...

Потом я перечитал то, что больше всего забыл: «Одиночество», «Святую любовь», «Ночлег» и военные рассказы: «Ночная смена», «Поход», «Дознаніе», «Свадьба»... Первые три рассказа опять оказались слабы: и по неубедительности фабул и по исполненію, – написаны под Мопассана и Чехова и опять уж так ладно, так гладко, так умело... «У Веры Львовны вдруг явилось непреодолимое желаніе прильнуть как можно ближе к своему мужу, спрятать голову на сильной груди этого близкаго человека, согреться его теплотой... То и дело легкія тучки набегали на светлый и круглый месяц и вдруг окрашивались причудливым золотым сіяніем... Вера Львовна впервые в своей жизни натолкнулась на ужасное сознаніе, приходящее рано или поздно в голову каждого чуткаго, вдумчиваго человека, – на сознаніе той неумолимой, непроницаемой преграды, которая вечно стоит между двумя близкими, людьми...» И в этом рассказе, как и в предыдущих, что ни слово, то пошлость. Но в военных рассказах дело пошло уже иначе, я все чаще стал внутренне восклицать: отлично! Тут опять все немножко не в меру ладно, гладко, опытно, но все это переходит в подлинное мастерство, все другой пробы, особенно «Свадьба», рассказ не заставляющий, не в пример прочим названным, думать: «ох, сколько тут Толстого и Чехова!» – рассказ очень жестокій, отдающій злым шаржем, но и блестящій. А когда я дошел до того, что принадлежит к поре высшаго развитія купринского таланта, к тому, что я выделил выше, – «Конокрады», «Болото» и так далее, – я, читая, уже не мог думать о недостатках этих рассказов, хотя в числе их есть и крупные: то дешевая идеяность, желаніе не отстать от духа своего времени в смысле обличительности и гражданского благородства, то заранее обдуманное намереніе поразить драматической фабулой и почти свирепым реализмом... Я уже не думал о недостатках, я только восхищался разнообразными достоинствами рассказов,

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru  
тем, что преобладает в них: свободой, силой, яркостью повествованій, его метким  
и без излишества щедрым языком...

Вот еще статья о нем – строка человека, долго и близко его знавшего, известного  
критика Пильского:

– Куприн был откровенен, прям, быстр на ответы, в нем была радостная и открытая  
пылкость и безхитростность, теплая доброта ко всему окружающему... Временами его  
серо-синие глаза освещались чудесным светом, в них сияли и трепетали крылья  
таланта... Он до самых последних лет мечтал о совершенной независимости, о  
героической смелости, его восхищали времена «железных времен, орлов и  
великанов»...

В этом дурном роде будут еще не мало писать, будут опять и опять говорить,  
сколько было в Куприне «первобытного, зверина», сколько любви к природе, к  
лошадям, собакам, котикам, птицам... В последнем есть, конечно, много правды, и я  
вовсе не хотел сказать, говоря о разнице между Куприным писателем и Куприным  
человеком, – таким, каким его характеризуют почти все, – будто никак не  
проявлялся человек в писателе: конечно, все таки проявлялся, и чем дальше, тем  
все больше. «Теплая доброта Куприна ко всему живущему» или, как говорит другой  
критик: «купринское благословеніе всему миру», это тоже было. Однако, надо  
помнить, что было только в последней поре жизни и творчества Куприна.

1938 г.

#### СЕМЕНОВЫ И БУНИНЫ

«Государство не может быть иначе, яко к пользе и славе, ежели будут такие в нем  
люди, которые знают течениe сил небесных и времени, мореплаваніе, географію  
всего света...» (Регламент Императорской Российской Академіи Наук 1747 года).

К «таким» людям принадлежал и принадлежит Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский,  
прославившій род Семеновых.

Я многое семейное узнал о нем от В. П. Семенова-Тянь-Шанского, его сына,  
живущаго эмигрантом в Финляндіи и порой родственно переписывающагося со мной  
(Семеновы родственники Бунины). От него же стало мне известно о печальной  
участи обширных мемуаров, оставленных его отцом. Их вышел всего первый том (во  
всем зарубежье существующій только в одном экземпляре). В. П. прислал мне этот  
том на прочтение и рассказал исторію второго, печатаніе котораго совпало с  
революціей и к октябрьскому перевороту доведено было всего до одиннадцатаго  
листа, на чем и остановилось: большевики, захватив власть, как известно, тотчас  
же ввели свое собственное правописаніе, приказали по типографіям уничтожить все  
знаки, изгнанные ими из алфавита, и поэтому В. П., лично наблюдавшій за  
печатаніем мемуаров, должен был или бросить дальнейшій набор второго тома или же  
кончать его по новому правописанію, то есть, выпустить в свет книгу довольно  
странную по внешнему виду. Стараясь избегнуть этой странности, В. П. нашел одну  
типографію, тайно не исполнившую большевицкаго заказа, преступные знаки еще не  
уничтожившую. Однако заведующий типографіей, боясь попасть в Чеку, соглашался  
допечатать книгу по старой орфографіи только при том условіи, что В. П. достанет  
от большевиков письменное разрешеніе на это. В. П. попытался это сделать и,  
конечно, получил отказ. Ему ответили: «Нет, уж извольте печатать теперь ваши  
мемуары по нашему правописанію: пусть всякому будет видно с двенадцатаго листа  
их, что как раз тут пришла наша победа. Кроме того, ведь вам теперь даже и наше  
разрешеніе не помогло бы: знаки, прежняго режима во всех типографіях уничтожены.  
Если же, паче чаянія, вы нашли типографію, их еще сохранившую, прошу вас немедля  
назвать ее, чтобы мы могли упечь ея заведующаго куда следует». Так, повторяю,  
книга и застягала на одиннадцатом листе, и что с ней стало, не знает, кажется,  
и сам В. П. (вскоре после того покинувшій Россію). Он мне писал о ней только то,  
что сказано выше, и прибавлял: «В этом втором томе описывается экспедиція отца в  
Среднюю Азію. В нем много ценного научного материала, но есть страницы  
интересныя и для широкой публики, – например, рассказ о том, как отец встретился  
в Сибири с Достоевским, котораго он знал в ранней молодости, – как есть таковыя  
же и в третьем и, в четвертых томах, ярко рисующія настроенія разных слоев  
русского общества в конце пятидесятых годов, затем эпоху великих реформ  
Александра II и его сподвижников...»

О Достоевском говорится и в первом томе, который некоторое время был у меня в руках. Этим страницам предшествует рассказ о кружке Петрашевского и о самом Петрашевском. Мы собирались у Петрашевского регулярно, по пятницам, разсказывает П. П. Мы охотно посещали его больше всего потому, что он имел собственный дом и возможность устраивать для нас приятные вечера – сам он всем нам казался слишком эксцентричным, если не сказать, сумасбродным. Он занимал должность переводчика в министерстве иностранных дел. Единственная его обязанность состояла в том, что его посылали в этом качестве на процессы иностранцев или на описи вымороченных имуществ, особенно библиотек. Тут он выбирал для себя все запрещенные иностранные книги, подменяя их разрешенными, и составлял из них свою собственную библиотеку, которую и предлагал к услугам всех своих знакомых. Будучи крайним либералом, атеистом, республиканцем и социалистом, он являл собой замечательный тип прирожденного агитатора. Всюду, где было можно, он проповедывал смесь своих идей с необыкновенной страстью, хотя и без всякой связности и толковости. Для целей своей пропаганды он, например, стремился стать учителем в военно-учебных заведениях, заявляя, что может преподавать целых одиннадцать предметов; когда же был допущен к испытанию по одному из них, начал свою пробную лекцию так: «На этот предмет можно смотреть с двадцати точек зрения...» и действительно изложил их все, хотя в учителя так и не был принят. В костюме своем он отличался тоже крайней оригинальностью; носил все то, что так строго преследовалось тогда, то есть длинные волосы, усы, бороду, ходил в какой-то испанской альмавиве и в цилиндре с четырьмя углами... Один раз он пришел в Казанский собор в женском платье, стал между дамами и притворился чинно молящимся; тут его несколько разбойничая физиономия и черная борода, которую он не особенно тщательно скрыл, обратили на себя изумленное внимание соседей; к нему подошел наконец квартирный надзиратель со словами: «Милостивая государыня, вы, кажется, переодетый мужчина»; но он дерзко ответил: «Милостивый государь, а мне кажется, что вы переодетая женщина», и так смущил квартирного, что мог, воспользовавшись этим, благополучно исчезнуть из собора...

Вообще наш кружок, говорит мемуарист далее, не принимал Петрашевского всерьез; но вечера его все же процветали и на них появлялись все новые и новые лица. На этих вечерах шли оживленные разговоры, в которых писатели облегчали свою душу, жалуясь на жестокую цензурную притесненность, бывали литературный чтение, делались рефераты по самым разнообразным научным и литературным предметам, разумеется, с тем освещением, которое недоступно было тогда печатному слову, лились пылкие речи об освобождении крестьян, которое казалось нам столь несбыточным идеалом, Н. Я. Данилевский выступал с целым рядом докладов о социализме, о фурьеризме, которым он в ту пору особенно увлекался, Достоевский читал отрывки из своих повестей «Бедные люди» и «Неточка Незванова» и страстно обличал злоупотребления помещиков крепостным правом...

Переходя к Достоевскому, автор говорит, что первое знакомство его с ним произошло как раз в то время, когда Достоевский вошел в славу своим романом «Бедные люди», разорился с Белинским и Тургеневым, совершенно оставил их литературный кружок и стал посещать кружки Петрашевского и Дурасова.

Вообще я знал его довольно долго и близко, говорит он. И вот что, между прочим, мне хочется сказать. Никак не могу, например, согласиться с утверждением многих, будто Достоевский был очень начитанный, но не образованный человек. Я утверждаю, что он был не только начитан, но и образован. В детские годы он получил прекрасную подготовку в отцовском доме, вполне овладел французским и немецким языками, так что свободно читал на них; в Инженерном училище систематически и усердно изучал, кроме общеобразовательных предметов, высшую математику, физику, механику; а широким дополнением к его специальному образованию послужила ему его большая начитанность. Во всяком случае можно смело сказать, что он был гораздо образованней многих тогдашних русских литераторов. Лучше многих из них знал он и русский народ, деревню, где жил в годы своего детства и отрочества, и вообще был ближе к крестьянам, к их быту, чем многие из зажиточных писателей дворян, что, кстати сказать, не мешало ему очень чувствовать себя дворянином, каковым он и был на самом деле, и кое в чем проявлять даже, излишнюю барскую замашки. Не мало говорили и писали о той нужде, в которой Достоевский будто бы находился в молодости. Но нужда эта была весьма относительна. По-моему, не с действительной нуждой боролся он тогда, а с несоответствием своих средств и своих желаний. Помню, например, нашу с ним лагерную жизнь и те денежный требование, которые он предъявлял своему отцу на лагерные расходы. Я жил почти рядом с ним, в такой же полотняной палатке, как и он, обходился без своего чаю, без своих собственных сапог, без сундука для книг, получал на лагерь всего на всего десять рублей – и

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru  
был спокоен, хотя учился в богатом, аристократическом заведеніи; а для Достоевского все это составляло несчастіе, он никак не хотел отставать от тех наших товарищій, у которых был и свой чай, и свои сапоги, и свой сундук, траты которых на лагерь колебались от сотен до тысяч рублей...

В этом первом томе мемуаров Семенова много говорится о нашем, Бунинском, роде, к которому Семеновы принадлежат по женской лінії, и в частности об Анне Петровне Буниной. Совсем недавно была и ея Годовщина – столетіе со времени ея смерти. Годовщина эта тоже никому не вспомнилась, а меж тем заслуживала бы и она того. Если принять во вниманіе время, в которое жила Бунина, нельзя не согласиться с теми, которые называли ее одной из замечательных русских женщин. Помимо мемуаров Семенова, сведенія о ней можно найти еще в одной давней статье, принадлежавшей Александру Павловичу Чехову. Теперь, говорит он, имя Буниной встречается только в исторіи литературы да и то потому, может быть, что портрет ея еще доныне висит в стенах Академіи Наук. Но в свою пору оно было очень известно, стихи Буниной читались образованной публикой с большой охотой, расходились быстро и высыпали восторженные отзывы критики. Их хвалил сам Державин, публично читал Крылов, ими восторгался Дмитрев, бывшій ближайшим другом Буниной. Греч говорил, что Бунина «занимает отличное место в числе современных писателей и первое между писательницами России», а Карамзин прибавлял: «Ни одна женщина не писала у нас так сильно, как Бунина». Императрица Елизавета Алексеевна пожаловала ей золотую лиру, осыпанную брильянтами, «для ношенія в торжественных случаях», Александр Благословенный назначил ей крупную пожизненную пенсию, Российской Академія Наук издала собраніе ея сочиненій. Слава ея кончилась с ея смертью и все-таки даже сам Белинский лестно вспоминал ее в своих литературных обзорах.

Отец Анны Петровны был владельцем известного села Урусова, в Рязанской губерніи. Там и родилась она – в 1774 году. П. П. Семенов говорит, что отец дал трем ея братьям чрезвычайно хорошее по тому времени; воспитаніе. Старшій принадлежал к образованнейшим людям своего века, прекрасно знал многие иностранные языки, состоял в масонской ложе; младшіе служили во флоте, причем один из них, во время войны Екатерины II со шведами, попал в плен и был определен шведским королем в упсальский университет, где и окончил свое образование. На долю А. П. выпала впоследствіи большая часть – она стала членом Российской Академіи Наук. А меж тем первоначальное ея образование было более чем скучно, ибо образование девиц считалось тогда не нужной роскошью. Образование она достигла в силу своей собственной воли и желания, после того, как ея старший брат стал возить ее в Москву и ввел в круг своих друзей из литературного и вообще просвещенного общества. Тут она встретилась и сблизилась, между прочим, с Мерзляковым, Капнистом, князем А. А. Шаховским, Воейковым, В. А. Жуковским, В. Л. Пушкиным. В последующее время на ея развитие имели большое влияние Н. П. Новиков и Карамзин, «которому больше всего и обязана она была в своем правильном и изящном литературном языке». Она зачитывалась «Московским Журналом», выходившим под его издательством, потом встречалась с ним в обществе, носившем название «Беседы любителей русского слова». Общество это организовалось в Петербурге в 1811 году. В нем было 24 действительных и 32 почетных члена, в число которых была избрана и Анна Петровна. Основателем «Беседы» был Шишков, и состояли в ней Крылов, Державин, Шаховской, Капнист, Озеров и даже сам Сперанский. Цель ея была – «противодействие тем нововведениям, которые вносил в русский язык Карамзин, проведение в жизнь подражания образцам славянского языка, преследование карамзинского направления», – и весьма курьезно было то, что и сам Карамзин был ея членом».

Дальнейшую судьбу А. П. очень изменила смерть ея отца. После этой смерти она переехала жить к своей сестре, Марье Петровне Семеновой, получив наследство, дававшее ей 600 руб. годового дохода. Она была теперь свободна и самостоятельна. И, пользуясь этим, прожила очень недолго у Семеновой. В 1802 году зять ея, Семенов, отправился в Петербург. А. П. упросила его взять ее с собою и, попав в столицу, отказалась возвращаться назад в деревню. Зять ея был «весыма фрапирован» этим, уговаривал ее отказаться от своего намерения – она все же от него не отказалась. В Петербург она приехала будто бы только для того, чтобы повидаться с своим братом моряком. Когда же решила поселиться в столице, стал и брат уговаривать ее вернуться в деревню, но тоже напрасно. Затем Семенов уехал в деревню, брат вскоре отправился в поход, и она оказалась в столице совсем одна. Это было по тем временам совсем необычно. Но ее ничуть не смущило. Более того: она наняла себе на Васильевском острове совсем отдельную квартиру, «взяв к себе для услуг некую степенную женщину».

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru

добившись своего, она деятельно и с изумительной энергией принялась за самообразование, несмотря на то, что в это время ей шел уже двадцать восьмой год. Она стала учиться французскому, немецкому и английскому языкам, физике, математике и главным образом российской словесности. Успехи были очень быстрые. Возвратившись из похода брат был поражен количеством и основательностью приобретенных ею познаний. Но эти же пріобретенія, обогатив ея ум, вместе с тем и разорили ее материально: живя в Петербурге, она истратила весь свой наследственный капитал. Положение ее становилось ужасно, она принуждена была войти в долги. Но тут брат поспешил познакомить ее с петербургскими литераторами, которым она и показала свои первые произведения. Ее одобрили, ей помогли печататься. Первое стихотворение ея, «С приморского берега», появилось в печати в 1806 году; за этим последовал целый ряд нового и дал ей такой успех в публике, что она собрала свои стихи и рискнула выпустить отдельным изданием, которое и вышло в свет под заглавием «Неопытная Муза». Издание это было поднесено императрице Елизавете Алексеевне и было награждено сперва вышеупомянутой «лирой, осыпанной бриллиантами», а затем ежегодной пенсіей в 400 рублей в год. С этого времени начинается уже слава Буниной. В 1811 году она выпустила новый том своих стихотворений, «Сельские вечера», который тоже разошелся очень быстро. Затем она напечатала свою «Неопытную Музу» вторым изданием, в двух томах. Это издание тоже имело большой успех. А двенадцатый год принес ей «высшие лавры»: тут она выступила с патротическими гимнами, «снискав себе вящее монаршее благоволение и ряд новых милостей». Но это были: уже последнюю ея радости: вскоре после того у нея открылся рак в груди, который всю оставшую жизнь ея превратил в непрерывную цепь страданий и, наконец, свел ее в могилу.

Было сделано все, чтобы спасти ее или хоть облегчить ея участъ. И двор и общество, почитавшее ее не только за ея поэтические заслуги, но и за высокія умственные и нравственные качества, проявили к ней большое участіе. Государь пожелал, чтобы к ней были приглашены светила медицины, лично заботился о том, чтобы лечение ея было обставлено как можно лучше; для нея, за счет двора, нанимались на лето дачи, бесплатно отпускались дикарства «из главной аптеки»; бесплатно же посещали ее и придворные медики. Затем решено было прибегнуть к последнему средству, в которое тогда весьма верили: к поездке в Англію, особенно славившуюся в то время своими врачами. Путевые издержки ея принял на себя опять сам государь, «проводил ее Петербург с большим триумфом». Но и Англія не помогла. А. П. пробыла за границей два года и возвратилась оттуда такою же больной, как уехала. Прожила она после, того еще двенадцать лет, но почти уже не писала, — только выпустила в 1821 году полное собрание своих сочинений в трех книгах, снова награжденное от двора, на этот раз пожизненной пенсіей в две тысячи рублей. Жила она эти последние годы то у родных, в деревне, то в Липецке, то на Кавказских водах, всюду ища облегчения от своих страданий. «Рак в груди довел свое разрушительное дело уже до того, что она не могла лежать и проводила большую часть времени в единственно возможной для нея позе — на коленях». Так, на коленях, и писала она:

Любить меня иль нет, жалеть иль не жалеть  
Теперь, о ближніе! вы можете по воле...

Последние дни свои она провела за переводом проповедей Блэра и за непрестанным чтением книг священного писания. Скончалась 4 декабря 1829 года, в селе Денисовке, Рязанской губерніи, у своего племянника Д. М. Бунина. Тело ея погребено в ея родном селе Урусове. На могиле ея, может быть, и до сих пор стоит скромный памятник, в свое время возобновленный П. П. Семеновым-Тянь-Шанским. В его мемуарах приводится милая надпись, сделанная ему А. П. на переводе проповедей Блэра, на книжечке в красном сафьяновом переплете;

«Дорогому Петиньке Семенову в чаяніи его достославной возмужалости».

1932 г.

ЭРТЕЛЬ

Он теперь почти забыт, а для большинства и совсем неизвестен. Удивительна была его жизнь, удивительно и это забвение. Кто забыл его друзей и современников, — Гаршина, Успенского, Короленко, Чехова? А ведь в общем он был не меньше их, — за исключением, конечно, Чехова, — в некоторых отношениях даже больше.

двадцять лет тому назад, в Москве, в чудесный морозный день, я сидел в его кабинете, в налитой солнцем квартире на Воздвиженке и, как всегда при встречах с ним, думал:

– Какая умница, какой талант в каждом слове, в каждой усмешке! Какая смесь мужественности к мягкости, твердости и деликатности, породистаго англичанина и воронежскаго прасола! Как все мило в нем и вокруг него; и его сухощавая, высокая фигура в прекрасном англійском костюме, на котором нет ни единой пушинки, и белоснежное белье, и крупные с рыжеватыми волосами руки, и висячіе русые усы, и голубые меланхолические глаза, и янтарный мундштук, в котором душисто дымится дорогая папироса, и, весь этот кабинет, сверкающій солнцем, чистотой, комфортом! Как поверить, что этот самый человек в юности двух слов не умел связать в самом невзыскательном уездном обществе, плохо знал, как обращаться с салфеткой, писал с нелепишими, орфографическими ошибками?

В этой же самой квартире он вскоре и умер – от разрыва сердца.

Через год после того вышли в свет семь томов собранія его сочиненій (разсказов, повестей и романов) и, один том писем. К роману «Гарденины» было приложено предисловие Толстого. К письмам – его автобіографія и статья Гершензона: «Міровозреніе Эртеля».

Толстой писал о «Гардениных», что, «начав читать эту книгу, не мог оторваться, пока не прочел ее всю и не перечел некоторых мест по несколько раз». Он писал:

«Главное достоинство, кроме серьезного отношения к делу, кроме такого знанія народного быта, какого я не знаю ни у одного писателя,

– неподражаемое, невстречаемое нигде достоинство этого романа есть удивительный по верности, красоте, разнообразию и силе народный язык. Такого языка не найдешь ни у старых, ни у новых писателей. Мало того, что народный язык его верен, силен, красив, он безконечно разнообразен. Старик дворовый говорит одним языком, мастеровой другим, молодой парень третьим, бабы четвертым, девки опять иным. У какого то писателя высчитали количество употребляемых им слов. Я думаю, что у Эртеля количество это, особенно народных слов, было бы самое большое из всех русских писателей, да еще каких верных, хороших, сильных, нигде, кроме как в народе, не употребляемых слов. И нигде эти слова не подчеркнуты, не преувеличена их исключительность, не чувствуется того, что так часто бывает, что автор хочет щегольнуть, удивить подслушанным им словечком...»

Это знаніе народа станет вполне понятно, когда просмотришь автобіографію Эртеля.

– Я родился, говорит он, 7 іюля 1855 года. Дед мой был из берлинской бургерской семьи, юношой попал в армію Наполеона и под Смоленском был взят в плен, а затем увезен одним из русских офицеров в воронежскую деревню. Там он вскоре перешел в православіе, женился на крепостной девушке, приписался в Воронежскіе мещане и всю последующую жизнь прожил управляющим в господских іменіях. Эту же должность наследовал и отец мой, тоже женившійся на крепостной. Человек он был весьма мало образованный, но любил читать, – преимущественно историческія книги, – и не чужд был так называемым вопросам политики и даже своего рода філософії; к прекрасным чертам его характера нужно отнести большую доброту при наружной суровости, довольно чуткое чувство справедливости и чрезвычайную трезвость ума, почти совершенно совпадавшую со взглядами великорусского крестьянина. Что до моей матери, незаконной дочери одного задонского помещика, то, в противоположность отцу, она была не прочь и от чувствительности и даже мечтательного романтизма...

– Выучила читать меня она, писать же я выучился сам, сначала копируя с книг печатныя буквы. Затем мой крестный, тот помещик Савельев, у которого отец долго был управляющим, предложил отцу взять меня к себе в дом. Жена Савельева была француженка, актриса из какого то бульварного театра в Париже, почти совсем не говорила по-русски, очень скучала и привязалась ко мне как к игрушке, рядила меня, кормила лакомствами... Впрочем, все это длилось недолго. Отец поссорился с Савельевым, потерял место – и я был обращен в «первобытное состояніе». Тогда мы почти год бедствовали на квартире у одного знакомаго мужика, пока отец не снял в аренду хутор...

– Я пользовался совершенной свободой делать, что мне угодно: играть с деревенскими ребятами, читать, когда и что захочу... Когда отец взялся «пріучать

**Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru**

меня к хозяйству», мне было 13 лет. Я в то время знал четыре правила арифметики, «Исторію Наполеона», «Кошечу Безсмертного», «Путешествіе Пифагора», «Стеньку Разина» Костомарова, второй том «Музея иностранной литературы», «Песни Кольцова», «Сочиненія Пушкина», старинный конский лечебник, священную исторію с картинками, комедію Чадаева «Дон Педро Прокодурнате». Затем я самоучкой выучился читать по церковному и несколько раз перечитал «Кievskiy Pateryk» и несколько книг Чети Минеи... Лет шестнадцати я познакомился с усманским купцом Богомоловым, и он снабдил меня сочиненіями Дарвина «О происхожденіи человека» и книжками «Русскаго Слова», в которых я с огромным увлечением прочитал статьи Писарева...

– Отец сделал меня своим помощником по хозяйству, но я настолько держался запанибата с простым народом, что иногда отец грозился меня бить за это и действительно раза три бил... Я был свой человек в застольной, в конюшнях, в деревне «на улице», на посиделках, на свадьбах, везде, где собирался молодой деревенскій народ... Отец решил, наконец, что мои дружественные и фамильярные отношения с деревней положительно мешают мне обладать авторитетом, нужным для приказчика, и согласился на то, чтобы я искал себе должность где-нибудь в другом месте; и вскоре после того я занял должность каторщика в одном соседнем имені... Железнную дорогу я увидел в первый раз, когда мни стало шестнадцать лет; Москву и Петербург – двадцати трех...

Дальнейшее довольно типично для того времени, для самоучки, «рвущагося к свету, к прогрессу»: новое знакомство с новым чудаком купцом, который «посреди грязи и пошлости: торговаго люда» был одержим истинной страстью к этому «прогрессу» и к чтенію; знакомство с его дочерью, которая взялась руководить развитием молодого «дикаря» и с которой вскоре завязался «книжный роман», кончившійся свадьбой; затем попытка завести свое хозяйство в арендованном на грошовое приданое жены именьице и, крушеніе этой попытки, – «я, считавшійся дельным хозяином в чужом богатом імені, оказался никуда не годным в своем маленькому», – и наконец приезд в Петербург (благодаря случайному знакомству с писателем Засодимским, как то заехавшим в Усмань) и начало типичной писательской жизни в среде наиболее передовых представителей тогдашней литературы, жизни в такой бедности, что у молодого писателя вскоре обнаружились задатки чахотки, и с таким увлечением «передовыми» идеями, что пришлось даже посидеть в Петропавловской крепости, а потом пожить в ссылке в Твери. Однако, типичность эта тут и кончается. Совсем не типичной оказалась быстрота развития этого «дикаря», быстрота превращенія его в настоящего культурного человека, его необычайный духовный и художественный рост и, главное, самостоятельность вкусов, взглядов и стремлений, уже и тогда далеко не во всем совпадавших с тем, что полагалось иметь всем этим Засодимским, Златоворатским. «Даже и в пору увлеченія Засодимским, говорит Эртель, меня не покидала отцовская струйка: здравый смысл. Я, например, чувствовал, что знаю жизнь лучше и глубже его и особенно жизнь народную, бытописателем которой он считал себя. Умел я и людей узнавать лучше его – этому помогало мои занятія хозяйством, деловыя отношенія с купцами, крестьянами, кулаками, кабатчиками, барышниками, словом, все то, что шло у меня рядом с любовью к народу, с сетованьями о его нужде, печалих, с увлечением туманными идеалами образованности, прогресса, свободы, равенства и братства...»

Этот то «здравый смысл» (если уж употребить столь чрезмерно скромное выражение) и сделал Эртеля такой крупной и своеобразной фигурой, как в жизни, так и в литературе. Гершензон совершенно справедливо говорит, что «нельзя вообразить себе более резкого контраста, нежели тот, который представляет фигура Эртеля среди худосочной и вялой русской интеллигенціи восьмидесятых годов». Да и жизнь его, повторяю, была лишь очень короткое время более или менее типичной жизнью интеллигента из разночинцев. Вскоре она опять стала (даже и внешне) чрезвычайно не похожа на таковую: после Твери Эртель только временами живал в столицах или заграницей, – он опять вернулся в деревню, к сельскому хозяйству и почти до самого своего конца отдавал ему половину всех своих сил, сперва арендую лично для себя клочок земли на родине, а затем управляя огромнейшими и богатейшими барскими имениями в одно время даже сразу несколькими, разбросанными в целых девяти губерніях, то есть «целым царством», как писал он мне однажды.

Гершензон считает, что Эртель даже и как мыслитель был явленіем «замечательным», что міровозреніе его «представляет собой чрезвычайно оригинальную и ценную систему идей». Сила мышленія Эртеля, говорит он, была в той области, которую Кант отводит «практическому разуму». Эртель был, прежде всего, человеком дела. Ему дана была от природы огромная жизнеспособность, он был ярким представителем делателей жизни, обладал страстной жаждой быть в непрерывной смене явленій и

Воспоминанія. Іван Алексеевич Бунін buninivan.ru  
действій. И вот этим то и определялся характер его міровозрення.

Все это міровозреніе есть ответ на двойственный вопрос: что позволяет сделать жизнь и чего она требует. Вопрос об изначальной силе, движущей мір, и о конечной цели этого движення Эртель оставлял без разсмотренія.

Он, однако, не был раціоналистом. Напротив, как раз живое чутье действительности научило его тому, что в основе всего видимаго есть элемент невидимый, но не менее реальный, и что не учитывать его в практических расчетах значит рисковать ошибочностью всех расчетов. Оттого позитивизм казался ему нестерпимой безсмысленностью.

Он думал, что жизнь резко распадается на явленія двух родов: на зависяще исключительно от воли «Великаго Неизвестнаго, которого мы называем Богом», то есть на такія, к которым мы должны относиться с безусловной покорностью, и на зависяще от нашей воли и устранимые, по отношение к которым борьба уместна и необходима.

Он верил, что существует абсолютная истина, но стоял лишь за условное осуществленіе ея, любил говорить: «В меру, друг, в меру!» – то есть: не ускорять насильственно этот поступательный ход истории. Безусловное пониманіе добра и зла и условное действие в осуществленіи первого и в борьбе с последним – вот что нужно для всякой деятельности, в том числе для всякой протестующей, говорил он. Значит ли это, однако, что он проповедывал «умеренность и аккуратность»? Редко кто был менее умерен и аккуратен, чем он, вся жизнь которого была страстью неумеренностью, «вечным горенiem в делах душевных, общественных и житейских, страдальческими поисками внешней и внутренней гармонії». Он сам нерідко жаловался: «Все не удается возстановить в своей жизни равновесія... То, что видишь вокруг и что читаешь, до такой степени надрывает сердце жалостью к одним и гневом к другим, что просто беда...» И дальние (говоря о своем участіи в помощи голодающим, которой он в начале девяностых годов отдавался целых два года с такой страстью, что совершенно забросил свои собственные дела и оказался в настоящей нищете):

«Еще раз узнал, что могу, до самозабвенія, до полнейшаго упадка сил увлекаться так называемой общественной деятельностью...»

Он сурово осуждал русскую интеллигенцію и прежде всего с практической точки зрения. Он говорил, что ея вечный протест, обусловленный только «нервическим раздражением» или «лирическим отношением к вещам», бесценен, не ведет к цели, ибо пафос сам по себе не есть какая либо сущность, а только форма проявленій, сущностью же всякой борьбы является личное религіозно-філософское убежденіе протестующаго и затем – пониманіе исторической действительности. Первое, что нужно русскому интеллигенту, говорил он, это проникнуться учением Христа, «который костю стал в горле господ Михайловских», без чего невозможно религіозная культура личности, а второе – глубокая и серьезная культура и исторический такт. Он говорил: «Всякія «Забытия слова» оттого ведь и забываются столь быстро и часто, что мы их воспринимаем лишь нервами... Несчастье нашего поколенія заключается в том, что у него совершенно отсутствовал интерес к религії, к філософії, к искусству и до сих пор отсутствует свободно развитое чувство, свободная мысль... Людям, кроме политических форм и учрежденій, нужен «дух», вера, истина. Бог... Ты скажешь: а все же умели умирать за идею! Ах, легче умереть, нежели осуществить! Односторонне протестующее общество даже в случае победы может принести более зла, нежели добра... О, горек, тысячу раз горек деспотизм, но он отнюдь не менее горек, если происходит от «Феденьки», а не от Победоносцевых. Воображаю, что натворили бы «Феденьки» на месте Победоносцевых! Что до нашего отношения к народу, то и тут не нужно никакой нормы, кроме той нравственной нормы, которую вообще должны определяться отношения между людьми, то есть закона любви, установленного Христом...»

«Мне думается, писал он в своей записной книжке, возражая Толстому, последователем которого он был во многом, я думаю, что раздать именіе нищим – не вся правда. Нужно, чтобы во мне и в детях моих сохранилось то, что есть добро: знаніе, образованность, целый ряд истинно хороших привычек, а это все большей частью требует не одной головной передачи, а наследственной. Отдавши имение, отдал ли я действительно все, чем я обязан людям? Нет, благодаря чужому труду, я, кроме именія, обладаю еще многим другим и этим многим должен делиться с ближним, а не зарывать, его в землю...»

Вообще безусловное пониманіе истины и условное осуществленіе ея – один из заветных тезисов Эртеля. Всем существом он чувствовал, что прямолинейная принципіальность холодна, мертвена, что теплота жизни только в компромиссе, что полное самоотречение такая же нелепость, как и всякое безусловное осуществленіе истины. «Любить одинаково своего ребенка и чужого – противоестественно. Достаточно, если твое личное чувство не погашает в тебе справедливости, которая не позволяет зарезать чужого ребенка ради удобства своего. Норма в той середине, где росток личной жизни цветет и зреет в полной силе, не заглушая вместе с тем любви ко всему живущему...»

Умер этот удивительный по своей кипучей внутренней и внешней деятельности, по свободе и ясности ума и широте сердца человек слишком рано – всего 52 лет от роду. И перед смертью уже глубоко верил, что «смысл всех земных страданій открывается там». В отрочестве он пережил пору страстного религіозного чувства. Затем эти чувства сменились «сомненіями, попытками утвердить, на месте все растущаго неверія, веру в добро, в революціонныя и народническія ученія, в ученіе Толстого... Но неизменно все перемещалось в моей натуре». Он во многом и навсегда остался «другом всяческих свобод» и вообще интеллигентом своего времени. (И все таки жизнь являлась ему «все в новом и новом освященіи»). добро? Но оказалось, что слово это «звучало слишком пусто» и что нужно было «хорошенько подумать над ним». Народничество? Но оказалось, что «народническія грезы суть грезы и больше ничего... Вот организовать (вне всякой политики) какой-нибудь огромный союз образованных людей с целью помочи всяческим крестьянским нуждам – это другое дело... Русскому народу и его интеллигенції, прежде всяких попыток осуществленія «царства Божія», предстоит еще создать почву для такого царства, словом и делом водворять сознательный и твердо поставленный культурный быт... Соціализм? Но не думаешь ли ты, что он может быть только у того народа, где проселочные дороги обсажены вишнями и вишни бывают целы? Там, где посадили простую, жалкую ветелку и ее выдернут просто «так себе» и где для сокращения пути на пять саженей проедут на телеге по великолепной ржи, – не барской, а крестьянской, – там может быть Разовщина, Пугачевщина, все, что хочешь, но не соціализм. А потом – что такое соціализм? Жизнь, друг мой, нельзя ввести в оглобли! Революція? Но к революції в смысле насилия я чувствую органическое отвращеніе... В каждом революціонном разрушенні есть грубое разрушеніе не матеріального только, а святынь жизни... Да и что такое матеріальное?

Истребленіе «Вишневых садов» озверело толпой возмутительно, как убійство... Ведь еще Герцен сказал, что иные вещи несравненно больше жалко терять, нежели иных людей... Толстой? Но всех загнать в Фиваиду – значит оскопить и обезцветить жизнь... Нельзя всем предписать земледельческий труд, жестокое непротивленіе злу, самоотреченіе до уничтоженія личности... Сводить всю свою жизнь до роли «самаритянской» я не хочу... Не было бы тени – не было бы борьбы, а что же прекраснее борьбы! Народ? Я долго писал о нем, обливаясь слезами...» Но идут годы – и что же говорит этот народолюбец? «Нет, никогда еще я так не понимал Некрасовского выраженія «любя ненавидеть», как теперь, купаясь в аду подлинной, а не абстрагированной народной действительности, в прелестях русского неправдоподобно жестокаго быта... Народ русскій – глубоко несчастный народ, но и глубоко скверный, грубый и, главное, лживый, лживый дикарь... Считают, что при Александре Втором всячески погублено несколько тысяч революціонеров, но ведь если бы дали волю «подлинному народу», он расправился бы с этими тысячами на манер Ивана Грознаго... Безверіе? Но человек без религіи существо жалкое и несчастное... Золотые купола и благовест – форма великой сущности, живущей в каждой человеческой душі...» И вот – последнія признанія, не задолго до смерти:

«Страшные тайны Бога не доступны моему разсудочному пониманію...»

«Верую, что смысл жизненных страданій в смерти откроется там...»

«Горячо верую, что жизнь наша не кончается здесь и что в той жизни будет разрешеніе всех мучительных загадок и тайн человеческаго существованія...»

1929 г.

ВОЛОШИН

Максимилліан Волошин был одним из наиболее видных поэтов предреволюціонных и  
Страница 62

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru  
революционных лет Россії и сочетал в своих стихах многія весьма типичный черты большинства этих поэтов: их эстетизм, снобизм, символизм, их увлеченіе европейской поэзіей конца прошлого и начала нынешняго века, их политическую «смену вех» (в зависимости от того, что было выгоднее в ту или иную пору); был у него и другой грех: слишком литературное воспеваніе самых страшных, самых зверских злодеяній русской революції.

После его смерти появилось не мало статей о нем, но сказали они в общем мало нового, мало дали живых черт его писательского и человеческого облика, некоторая же просто ограничились хвалами ему да тем, что пишется теперь чуть не поголовно обо всех, которые в стихах и прозе касались русской революції: возвели и его в пророки, в провидцы «грядущаго русского катаклизма», хотя для многих из таких пророков достаточно было в этом случае только некотораго знанія начальных учебников русской исторіи. Наиболее интересныя замечанія о нем я прочел в статье А. И. Бенуа, в «Последних Новостях»:

«Его стихи не внушали того к себе доверия, без которого не может быть подлинного восторга. Я «не совсем верил» ему, когда по выступам красивых и звучных слов он взбирался на самыя вершины человеческой мысли... Но влекло его к этим восхожденіям совершенно естественно, и именно слова его влекли... Некоторую иронію я сохранил в отношеніи к нему навсегда, что ведь не возбраняется и при самой близкой и нежной дружбe... Близорукій взор, прикрытый пенсне, странно нарушал все его «звероподобіе», сообщая ему что-то растерянное и беспомощное... что-то необычайно милое, подкупающее... Он с удивительной простотой душевной не то «медузировал», не то забавлял кремлевских проконсулов, когда возымел наивную дерзость свои самые страшные стихи, полные обличеній и трагических ламентаций, читать перед лицом советских идеологов и вершителей. И сошло это, вероятно, только потому, что и там его не пожелали принять всерьез...»

Я лично знал Волошина со времен довольно давних, но до наших последних встреч в Одессе, зимой и весной девятнадцатого года, не близко.

Помню его первые стихи, – судя по ним, трудно было предположить, что с годами так окрепнет его стихотворный талант, так разовьется внешне и внутренне. Тогда были они особенно характерны для его «влеченія к словам»:

– Мысли с рыданьями ветра сплетаются,  
Поезд гремит, перегнать их старается,  
Так вот в ушах и долбит и стучит это:  
Титата, тотата, татата, титата...  
– Из страны, где солнца свет  
Льется с неба жгуч и ярок,  
Я привез себе в подарок  
Пару звонких кастаньет...  
– Склоняясь ниц, овеян ночи синью,  
Доверчиво ищу губами я  
Сосцы твои, натертые полынью,  
О, мать-земля!

Помню паши первый встречи, в Москве. Он уже был тогда заметным сотрудником «Весов», «Золотого Руна». Уже и тогда очень тщательно «сделана» была его наружность, манера держаться, разговаривать, читать. Он был невысок ростом, очень плотен, с широкими и прямыми плечами, с маленькими руками и ногами, с короткой шеей, с большой головой, темно-рус, кудряв и бородат: из всего этого он, не взирая на пенсне, ловко сделал нечто довольно живописное на манер русского мужика и античного грека, что-то бычье и вместе с тем круторогобаранье. Пожив в Париже, среди мансардных поэтов и художников, он носил широкополую черную шляпу, бархатную куртку и накидку, усвоил себе в обращеніи, с людьми старинную французскую оживленность, общительность, любезность, какую-то смешную граціозность, вообще что-то очень изысканное, жеманное и «очаровательное», хотя задатки всего этого действительно были присущи его натуре. Как почти все его современники стихотворцы, стихи свои он читал всегда с величайшей охотой, всюду, где угодно и в любом количестве, при малейшем желаніи окружающих. Начиная читать, тотчас поднимал свои толстые плечи, свою и без того высоко поднятую грудную клетку, на которой обозначались под блузой почти женскія груди, делал лицо олимпійца, громовержца и начинал мощно и томно завывать. Кончив, сразу сбрасывал с себя эту грозную и важную маску: тотчас же опять очаровательная и вкрадчивая улыбка, мягко, салонно переливающійся голос, какая-то радостная готовность ковром лечь под ноги собеседнику – и осторожное, но неутомимое

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru  
сладострастіє аппетита, если дело было в гостях, за чаем или ужином...

Помню встречу с ним в конце 1905 года, тоже в Москве. Тогда чуть не все видные московские и петербургские поэты вдруг оказались страшными революционерами, – при большом, кстати сказать, содействії Горького и его газеты «Борьба», в которой участвовал сам Ленин. Это было во время первого большевицкаго восстанія, Горький крепко сидел в своей квартире на Воздвиженке, никогда не выходя из нея ни на шаг, день и ночь держал вокруг себя стражу из вооруженных с ног до головы студентов грузин, всех уверяя, будто на него готовится покушеніе со стороны крайних правых, но вместе с тем день и ночь принимал у себя огромное количество гостей, – пріятелей, поклонников, «товарищей» и сотрудников этой «Борьбы», которую он издавал на средства некоего Скирмунта и которая сразу же пленила поэта Брюсова, еще летом того года требовавшаго водруженія креста на св. Софії и произносившаго монархическія речи, затем Минского с его гимном: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» – и не мало прочих. Волошин в «Борьбе» не печатался, но именно где-то тут, – не то у Горького, не то у Скирмунта, – услышал я от него тогда тоже совсем новыя для него песни:

Народу русскому: я скорбный Ангел Мщенья!

Я в раны черныя, в распахнутую новь  
Кидаю семена. Прошли века терпенья,  
И голос мой – набат! Хоругвь моя, как кровь!

Помню еще встречу с его матерью, – это было у одного писателя, я сидел за чаем как раз рядом с Волошиным, как вдруг в комнату быстро вошла женщина лет пятидесяти, с седыми стрижеными волосами, в русской рубахе, в бархатных шароварах и сапожках с лакированными голенищами, и я чуть не спросил именно у Волошина, кто эта смехотворная личность? Помню всяkie слухи о нем: что он, съезжаясь за границей с своей невестой, назначает ей первыя свиданія непременно где-нибудь на колокольне готического собора; что живя у себя в Крыму, он ходит в одной «тунике», проще говоря, в одной длинной рубахе без рукавов, очень, конечно, смешно при его толстой фигуре и коротких волосатых ногах... К этой поре относится та автобіографическая заметка его, автограф которой был воспроизведен в «Книге о русских поэтах» и которая случайно сохранилась у меня до сих пор, – строки местами тоже довольно смешныя:

«Не знаю, что интересно в моей жизни для других. Поэтому перечислю лишь то, что было важно для меня самого.

Я родился в Киеве 16 мая. 1877 года, в день Святого духа.

События жизни исчерпываются для меня странами, книгами и людьми.

Страны: первое впечатленіе – Таганрог и Севастополь; сознательное бытие – окраины Москвы, Ваганьково кладбище, машины и мастерскія железной дороги; отчество – леса под Звенигородом; пятнадцати лет – Коктебель в Крыму, – самое ценное и важное на всю жизнь; двадцати трех – Среднеазіатская пустыня – пробужденіе самопознанія; затем Греція и все побережья и острова Средиземного моря – в них обретенная родина духа; последняя ступень – Париж – сознаніе ритма и формы.

Книги-спутники: Пушкин и Лермонтов с пяти лет, с семи Достоевскій и Эдгар По; с тринадцати Гюго и Диккенс; с шестнадцати Шиллер, Гейне, Байрон; с двадцати четырех французскіе поэты и Анатоль Франс; книги последних лет: Багават-Гита, Маллармэ, Поль Клодель, Анри де Ренье, Вилье де Лиль Адан – Индія и Франція.

Люди: лишь за последние годы они стали занимать в жизни больше места, чем страны и книги. Имена их не назову...

Стихи я начал писать тринадцати лет, рисовать двадцати четырех...»

В ту пору всюду читал он и другое свое прославленное стихотвореніе из времен французской революціи, где тоже немало ударно-эстрадных слов;

Это гибкое, страстное тело  
Растоптала ногами толпа мне...  
Потом было слышно, что он участвует в построеній где-то в Швейцаріи какого-то антропософского храма...

**Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru**

Зимой девятнадцатого года он пріехал в Одессу из Крыма, по приглашение своих друзей Цетлиных, у которых и остановился. По пріезде тотчас же проявил свою обычную деятельность, – выступал с чтеніем своих стихов в Литературно-Художественном Кружке, затем в одном частном клубов, где почти все проживавшие тогда в Одессе столичные писатели читали за некоторую плату свои произведения среди пивших и евших в зале перед ними «недорезанных буржуев»... Читал он тут много новых стихов о всяких страшных делах и людях как древней Россіи, так и современной, большевицкой. Я даже дивился на него – так далеко шагнул он вперед и в писаніи стихов и в чтеніи их, так силен и ловок стал и в том и в другом, но слушал его даже с некоторым негодованіем; какое, что называется, «великолепное», самоупоенное и, по обстоятельствам места и времени, кощунственное словоизвержение! – и, как всегда, все спрашивал себя: на кого же в конце концов похож он? Вид как будто грозный, пенсне строго блестит, в теле все как-то поднято, надуто, концы густых волос, разделенных на прямой пробор, завиваются кольцами, борода чудесно круглится, маленький ротик открывается в ней так изысканно, а гремит и завывает так гулко и мощно... Кряжистый мужик русских крепостных времен? Пріап? Кашалот? – Потом мы встретились на вечере у Цетлиных, и опять это был «милейший и добрейший Максимилиан Александрович». Присмотревшись к нему, увидал, что наружность его с годами уже несколько огрубела, отяжелела, но движенія по-прежнему легки, живы; когда перебегает через комнату, то перебегает каким-то быстрым и мелким аллюром, говорит с величайшей охотой и много, весь так и сіяет общительностью, благорасположением ко всему и ко всем, удовольствіем от всех и от всего – не только от того, что окружает его в этой светлой, теплой и людной столовой, но даже как бы от всего этого огромного и страшного, что совершается в міре вообще и в темной, жуткой Одессе в частности, уже близкой к приходу большевиков. Одет при этом очень бедно – так уже истерта его коричневая бархатная блузка, так блестят черные штаны и разбиты башмаки... Нужду он терпел в ту пору очень большую.

Дальше беру (в сжатом виде) кое-что из моих тогдашних заметок:

– Французы бегут из Одессы, к ней подходят большевики. Цетлины садятся на пароход в Константинополь. Волошин остается в Одессе, в их квартире. Очень возбужден, как-то особенно бодр, легок. Вечером встретил его на улице: «Чтобы не быть выгнанным, устраиваю в квартире Цетлиных общежитіе поэтов и поэтесс. Надо действовать, не надо предаваться унынню!»

– Волошин часто сидит у нас по вечерам. По-прежнему мил, оживлен, весел. «Бог с ней с политикой, давайте читать друг другу стихи!» Читает, между прочим, свои «Портреты». В портрете Савинкова отличная черта – сравненіе его профиля с профилем лося.

Как всегда говорит без умолку, затрагивая множества самых разных тем, только делая вид, что интересуется собеседником. Конечно, восхищается Блоком, Белым и тут же Анри де Ренье, котораго переводит.

Он антропософ, уверяет, будто «люди суть ангелы десятаго круга», которые приняли на себя облик людей вместе со всеми их грехами, так что всегда надо помнить, что в каждом самом худшем человеке сокрыт ангел...

– Спасаем от реквизиціи особняк нашего друга, тот, в котором живем, – Одесса уже занята большевиками. Волошин принимает в этом самое горячее участіе. Выдумал, что у нас будет «Художественная неореалистическая школа». Бегает за разрешеніем на открытие этой Школы, в пять минут написал для нея замысловатую вывеску. Сыплет сентенціями: «В архитектуре признаю только готику и греческий стиль. Только в них нет ничего, что украшает».

– Одесские художники, тоже всячески стараясь спастись, организуются в професіональный союз вместе с малярами. Мысль о малярах подал, конечно, Волошин. Говорит с восторгом:

«Надо возвратиться к средневековым цехам!»

– Заседание (в Художественном Кружке) журналистов, писателей, поэтов и поэтесс, тоже «по организації професіонального союза». Очень людно, много публики и всяких пишущих, «старых» и молодых. Волошин бегает, сіяет, хочет говорить о том, что нужно и пишущим объединиться в цех. Потом, в своей накидке и с висящей за плечом шляпой, – ея шнур прицеплен к крючку накидки, – быстро и граціозно,

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин [buninivan.ru](http://buninivan.ru)!

мелкими шажками выходит на эстраду: «Товарищи!» Но тут тотчас же поднимается! дикий крик и свист: буйно начинает скандалить орава молодых поэтов, занявших всю заднюю часть эстрады: «Долой! К черту старых, обветшалых писак! Клянемся умереть за советскую власть!» Особенно безчинствуют Катаев, Багрицкий, Олеша. Затем вся орава «в знак протеста» покидает зал. Волошин бежит за ними – «они нас не понимают, надо объясниться!»

– Часовая стрелка переведена на два часа двадцать пять минут вперед, после девяти запрещено показываться на улице. Волошин иногда у нас ночует. У нас есть некоторый запас сала и спирта, он ест жадно и с наслаждением и все говорит, говорит и все на самая высокая к трагической темы. Между прочим, из его речей о масонах ясно, что он масон, – да и как бы он мог при его любопытстве и прочих свойствах характера упустить случай попасть в такое сообщество?

– Большевики приглашают одесских художников принять участие в украшении города к первому мая. Некоторые с радостью хватаются за это приглашение: от жизни, видите ли, уклоняться нельзя, кроме того «в жизни самое главное – искусство и оно вне политики». Волошин тоже загорается рвением украшать город, фантазирует, как надо это сделать: хорошо, например, натянуть над улицами и по фасадам домов полотнища, расписанные ромбами, конусами, пирамидами, цитатами из разных поэтов... Я напоминаю ему, что в этом самом городе, который он собирается украшать, уже нет ни воды, ни хлеба, идут безпрерывные облавы, обыски, аресты, разстрелы, по ночам – непроглядная тьма, разбой, ужас... Он мне в ответ опять о том, что в каждом из нас, даже в убийце, в кретине сокрыт страждущий Серафим, что есть девять серафимов, которые сходят на землю и входят в людей, дабы прятать распятие, горение, из коего возникают какие-то прокаленные и просветленные лики...

– Я его не раз предупреждал: не бегайте к большевикам, они ведь отлично знают, с кем вы были еще вчера. Болтает в ответ то же, что и художники: «Искусство все времени, вне политики, я буду участвовать в украшении только как поэт и как художник». – «В украшении чего? Собственной виселицы?» – Все-таки побежал. А на другой день в «Известиях»: «К нам лезет Волошин, всякая сволочь спешит теперь примазаться к нам...» Волошин хочет писать письмо в редакцию, полное благородного негодования...

– Письмо, конечно, не напечатали. Я и это ему предсказывал. Не хотел и слушать: «Не могут не напечатать, обещали, я был уже в редакции!» Но напечатали только одно: «Волошин устраниен из первомайской художественной комиссии». Пришел к нам и горько жаловался:

«Это мне напоминает тот случай, когда ни одна из газет, травивших меня за то, что я публично развенчал Репина, не дала мне места ответить на эту травлю!»

– Волошин хлопочет, как бы ему выбраться из Одессы домой, в Крым. Вчера прибежал к нам и радостно рассказал, что дело устраивается и, как это часто бывает, через хорошенькую женщину. «У нея реквизировал себе помещение председатель Чека Северный, Геккер познакомила меня с ней, а она – с Северным». Восхищался и им; «У Северного кристальная душа, он многих спасает!» – «Приблизительно одного из ста убиваемых?» – «Все же это очень чистый человек...» И, не удовольствовавшись этим, имел жестокую наивность разскажать мне еще то, что Северный простить себя не может, что выпустил из своих рук Колчака, который будто бы попался ему однажды в руки крепко...

– Помогают Волошину пробраться в Крым еще и через «морского комиссара и командующего черноморским флотом» Немица, который, по словам Волошина, тоже поэт, «особенно хорошо пишет рондо и трюлеты». Выдумывают какую-то тайную большевицкую миссию в Севастополь. Беда только в том, что ее не на чем послать: весь флот Немица состоит, кажется, из одного парусного дубка, а его не во всякую погоду пошлешь...

Если считать по новому стилю, он уехал из Одессы (на этом самом дубке) в начале мая. Уехал со спутницей, которую называл Татидой. Вместе с нею провел у нас последний вечер, ночевал тоже у нас. Провожать его было все-таки грустно. Да и все было грустно: сидели мы в полутиме, при самодельном ночнике, – электричества не позволяли зажигать, – угощали отезжающих чем-то очень жалким. Одет он был уже по-дорожному – матроска, берет. В карманах держал немало разных спасительных бумажек, на все случаи: на случай большевицкого обыска при выходе из одесского порта, на случай встречи в море с французами или добровольцами, – до большевиков

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru

у него были в Одессе знакомства и во французских командных кругах и в добровольческих. Все же все мы, в том числе и он сам, были в этот вечер далеко не спокойны: Бог знает, как-то сойдет это плавание на дубке до Крыма... Беседовали долго и на этот раз почти во всем согласно, мирно. В первом часу разошлись наконец: на разсвете наши путешественники должны были быть уже на дубке. Прощаясь, взволновались, обнялись. Но тут Волошин, почему то неожиданно вспомнил, как он однажды зимой сидел с Алексеем Толстым в кофейне Робина, как им вдруг пришло в голову начать медленно, но все больше и больше – и притом с самыми серьезными, почти зверскими лицами, – надуваться, затем так же медленно выпускать дыхание и как вокруг них начала собираться удивленная, непонимающая, в чем дело, публика. Потом очень хорошо стал изображать медвежонка...

С пути он прислал нам открытку, писанную 16 мая в Евпаторії:

«Пока мы благополучно добрались до Евпаторії и второй день ждем поезда. Мы пробыли день на Кинбурнской Кося, день в Очакове, ожидая ветра, были дважды остановлены французским миноносцем, болтались ночь без ветра, во время мертвый зыби, были обстреляны пулеметным огнем под Ак-Мечетью, скакали на перекладных целую ночь по степям и гниющим озерам, а теперь застяли в грязнейшей гостинице, ожидая поезда. Все идет не скоро, но благополучно. Масса любопытнейших человеческих документов... Очень приятно вспоминать последний вечер, у вас проведенный, который так хорошо закончил весь нехороший одесский период».

В ноябре того же года пришло еще одно письмо от него, из Коктебеля. Привожу его начало:

«Большое спасибо за ваше письмо: как раз эти дни все почему-то возвращался мысленно к вам, и оно пришло как бы ответом на мои мысли.

Мои приключения только и начались с выездом из Одессы. Мои большевицкие знакомства и встречи развивались по дороге от матросов-разведчиков до «командарма», который меня привез в Симферополь в собственном вагоне, оказавшись моим старым знакомым.

Потом я сидел у себя в мастерской под артиллерийским огнем: первый десант добровольцев был произведен, в Коктебеле и делал его «Кагул», со всею командой которого я был дружен по Севастополю: так что их первый визит был на мою террасу.

Через три дня после освобождения Крыма я помчался в Екатеринодар спасать моего друга генерала Маркса, несправедливо обвиненного в большевизме, которому грозил разстрел, и один, без всяких знакомств и связей, добился таки его освобождения. Этого мне не могут простить теперь феодосийцы, и я сейчас здесь живу с репутацией большевика и на мои стихи смотрят как на большевицкие.

Кстати: первое издание «Демонов глухонемых» распространялось в Харькове большевицким «Центрагом», а теперь ростовский (добровольческий) «Осваг» взял у меня несколько стихотворений из той же книги для распространения на летучках. Только в июле месяце я наконец вернулся домой и сел за мирную работу...

Работаю исключительно над стихами. Все написанные летом я переслал Гросману для одесских изданий. Поэтому относительно моих стихотворений на общественные темы спросите его, а я посыпаю вам пока для «Южного Слова» два прошлогодних, лирических, еще нигде не появлявшихся, и две небольших статьи: «Пути России» в «Самогон крови». Сейчас уже два месяца работаю над большой поэмой о св. Серафиме, весь в этом напряжении и неуверенности, одолею ли эту грандиозную тему. Он должен составить диптих с «Аввакумом».

Зимовать буду в Коктебеле: этого требует и работа личная и сумасшедшая цены, за которыми никакие гонорары угнаться не могут. Кстати о гонораре: теперь я получаю за стихи десять рублей за строку, а статьи по три за строку. Это минимум, поэтому, если «Южное Слово» за стихи заплатит больше, я не откажусь.

Мне бы очень хотелось, И. А., чтобы вы прочли все мои новые стихи, что у Гросмана: я в них сделал попытку подойти более реалистически к современности (в цикле «Личины», стих.: Матрос, Красногвардеец, Спекулянт и т. д.) и мне бы очень хотелось знать ваше мнение.

Воспоминанія. Іван Алексеевич Бунін buninivan.ru

Я ще до сих пор переполнен впечатленнями этой зимы, весны и лета: мне действительно удалось пересмотреть всю Россию во всех ея партіях и с верхов и до низов. Монархисты, церковники, эсеры, большевики, добровольцы, разбойники... Со всеми мне удалось провести несколько интимных часов в их собственной обстановке...»

Це письмо було для мене последнє вестю про нього.

Теперь уже давно нет его в живых. Ни революционером, ни большевиком он, конечно, не был, но, повторяю, вел себя все же очень странно.

Вот девятнадцатий год: этот год был одним из самых ужасных в смысле большевицких злодейній. Тюрьмы Чеки были по всей Россії переполнены, — хватали, кого попало, во всех подозревая контрреволюционеров, — каждую ночь выгоняли из тюрем мужчин, женщин, юношей на темные улицы, стаскивали с них обувь платья, кольца, кресты, делили меж собою. Гнали разутых, раздетых по ледяной земле, под зимним ветром, за город, на пустыри, освещали ручным фонарем... Минуту работал пулемет, потом валили, часто недобитых, в яму, кое как заваливали землей... Кем надо было быть, чтобы бряцать об этом на лире, превращать это в литературу, литературно-мистически закатывать по этому поводу под лоб очи? А ведь Волошин бряцал:

Носят ведрами спелыя гроздья,  
Валят ягоды в губокій ров...  
Ах, не гроздья носят, юношай гонят  
К черному точилу, давят вино!  
Чего стоит одно это томное «ах!» Но он заливался еще слаше:

Вейте, вейте, снежная стихія,  
Заметайте древніе гроба!  
То есть: канун вам да ладан, милые юноши, гонимые «к черному точилу»! По человечеству жаль вас, конечно, но что ж поделаешь, ведь убійцы чекисты суть «снежные, древніе стихія»:

Верю в правоту верховных сил,  
Расковавших древнія стихія,  
И из недр обугленной Россії  
Говорю: «Ты прав, что так судил!»  
Надо до алмазного закала  
Прокалить всю толщу бытія,  
Если ж дров в плавильне мало, —  
Господи, вот плоть моя!  
Страшней всего то, что это было не чудовище, а толстый и кудрявый эстет, любезный и неутомимый говорун и большой любитель покушать. Почти каждый день, бывая у меня в Одессе весной девятнадцатого года, когда «черное точило», — или, не столь кудряво говоря, Чека на Екатерининской площади, — весьма усердно «прокаляла толщу бытія», он часто читал мне стихи на счет то «снежной», то «обугленной» Россіи, а тотчас после того свои переводы из Анри де Ренье, потом опять пускался в оживленное антропософическое красноречіе. И тогда я тотчас говорил ему:

— Максимілан Александрович, оставьте все это для кого-нибудь другого. Давайте лучше закусим: у меня есть сало и спирт.

И нужно было видеть, как мгновенно обрывалось его красноречіе и с каким аппетитом уписывал он, несчастный, голодный, сало, совсем забывши о своей пылкой готовности отдать свою плоть Господу в случай надобности.

1930 г.

«ТРЕТИЙ ТОЛСТОЙ»

«Третій Толстой» — так не редко называют в Москве недавно умершаго там автора романов «Петр Первый», «Хожденія по мукам», многих комедій, повестей и рассказов, известнаго под именем графа Алексія Николаевича Толстого: называют так потому, что были в русской литературе еще два Толстых, — граф Алексей Константинович Толстой, поэт и автор романа из времен царя Ивана Грознаго «Князь

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru

Серебряный», и граф Лев Николаевич Толстой. Я довольно близко знал этого Третьяго Толстого в России и в эмиграції. Это был человек во многих отношениях замечательный. Он был даже удивителен сочетанием в нем редкой личной безнравственности (ни чуть не уступавшей, после его возвращения в Россію из эмиграції, безнравственности его крупнейших соратников на поприще служенія советскому Кремлю) с редкой талантливостью всей его натуры, наделенной к тому же большим художественным даром. Написал он в этой «советской» Россіи, где только чекисты друг с другом советуются, особенно много и во всех родах, начавши с площадных сценаріев о Распутине, об интимной жизни убийства царя и царицы, написал вообще не мало такого, что просто ужасно по низости, пошлости, но даже и в ужасном оставаясь талантливым. Что до большевиков, то они чрезвычайно гордятся им не только как самым крупным «советским» писателем, но еще и тем, что был он все-таки граф да еще Толстой. Недаром «сам» Молотов сказал на каком то «Чрезвычайном восьмом съезде Советов»:

«Товарищи! Передо мной выступал здесь всем известный писатель Алексей Николаевич Толстой. Кто не знает, что это бывший граф Толстой! А теперь? Теперь он товарищ Толстой, один из лучших и самых популярных писателей земли советской!»

Последнія слова Молотов сказал тоже недаром: ведь когда-то Тургенев назвал Льва Толстого «великим писателем земли русской».

В эмиграции, говоря о нем, часто называли его то пренебрежительно, Алешкой, то снисходительно и ласково, Алешей, и почти все забавлялись им: он был веселый, интересный собеседник, отличный рассказчик, прекрасный чтец своих произведений, восхитительный в своей откровенности циник; был наделен немалым и очень зорким умом, хотя любил прикидываться дураком и беспечным шалопаем, был ловкий рвач, но и щедрый мот, владел богатым русским языком, все русское знал и чувствовал как очень немногие... Вел он себя в эмиграции нередко и впрямь «Алешкой», хулиганом, был частым гостем у богатых людей, которых за глаза называл сволочью, я все знали это и все-таки все прощали ему: что ж, мол, взять с Алешки! По наружности он был породист, рослый, плотный, бритое полное лицо его было женственно, пенсне при слегка откинутой голове весьма помогало ему иметь в случаях на- добности высокомерное выражение; одет и обут он был всегда дорого и добротно, ходил носками внутрь, – признак натуры упорной, настойчивой, – постоянно играл какую-нибудь роль, говорил на множество ладов, все меняя выражение лица, то бормотал, то кричал тонким бабьим голосом, иногда, в каком-нибудь «салоне», сюсюкал как великосветский фат, хохотал чаще всего как-то неожиданно, удивленно, выпучивая глаза и даваясь, крякая, ел и пил много и жадно, в гостях напивался и обедался, по его собственному выражению, до безобразия, но, проснувшись, на другой день, тотчас обматывал голову мокрым полотенцем и садился за работу: работник был он первоклассный.

Был ли он действительно графом Толстым? Большевики народ хитрый, они дают сведения о его родословной двусмысленно, неопределенно, – например, так:

«А. Н. Толстой родился в 1883 году, в бывшей самарской губернії, и детство провел в небольшом имении второго мужа его матери, Алексея Бострома, который был образованным человеком и материалистом...»

Тут без хитрости сказано только одно: «родился в 1883 году, в бывшей самарской губернії...» Но где именно? В имени графа Николая Толстого или Бострома? Об этом ни слова, говорится только о том, где прошло его детство. Кроме того, полным молчанием обходится всегда граф Николай Толстой, так, точно он и не существовал на свете: полная неизвестность, что за человек он был, где жил, чем занимался, виделся ли когда-нибудь хоть раз в жизни с тем, кто весь свой век носил его имя, а от его титула отрекся только тогда, когда возвратился из эмиграции в Россію. Сам он за все годы нашего с ним пріятельства к при той откровенности, которую он так часто проявлял по отношению ко мне, тоже никогда, ни единим звуком не обмолвился о граfe Николай Толстом... За всем тем касаюсь я его родословной только по той причине, что, до своего возвращения в Россію, он постоянно козырял своим титулом, спекулировал им и в литературе и в жизни. Страсть ко всяческим житейским благам и к пріобретеню их настолько велика была у него, что, возвратившись в Россію, он в угоду Кремлю и советской черни тотчас же принял не только за писаніе гнусных сценаріев, но и за сочиненія пасквилей на тех самых буржуев, которых он обедал, опивал, обирал «в долг» в эмиграции, и за нелепейшія измышленія о каких-то зверствах, которыми будто бы занимались в Париже русские «белогвардейцы».

Совершенно правильны, вероятно, сведенія о том, когда он родился и где прошло его детство. Но что было дальше? По свидетельству его советских біографій, снабженных его собственными автобіографическими показаніями, было вот что:

«в 1905 году, во время первой русской революціи, Толстой писал революціонные стихи. В следующем году, когда царскіе сатрапы превращали всю страну в тюремный лагерь, выпустил декадентскую книжку стихов, которую потом скупал и сжигал. Он чувствовал, что к старому возврата нет...»

Тут начинается уже махровая и очень неуклюжая ложь. Весьма непонятно: писал в 1905 году революціонные стихи – и вдруг выпустил всего через год после того и как раз тогда, «когда царскіе сатрапы превращали всю страну в тюремный лагерь», нечто столь неподходящее ко времени, «декадентскую книжку стихов», которую потом будто бы стал скупать и жечь!

Однако, даже и такія біографические сведенія ничто перед тем, что следует дальше:

«Первая міровая война поставила перед Толстым массу новых вопросов и мучительных загадок...»

Поистине только в Москве можно лгать так глупо! Толстой – и «масса» вопросов, да еще «новых»! Значит, и прежде осаждала его, несчастного, «масса» каких-то вопросов! А тут явились еще и новые, а кроме того и «мучительные загадки». Лично я не раз бывал свидетелем того, как мучили его вопросы и загадки, где бы, у кого бы сорвать еще что-нибудь «в долг» на портного, на обед в ресторане, на плату за квартиру; но иных что-то не помню.

«В великую Октябрьскую революцію Толстой растерялся... Уехал в Одессу, зиму прожил там. Весною 1919 г. уехал в Париж. О жизни в эмиграции он сам написал в своей автобіографії так: «Это был самый тяжелый период в моей жизни...» В 1921 году он уехал из Парижа в Берлин и вошел в группу сменовеховцев. Вернувшись на родину, написал ряд произведений о белых эмигрантах, о совершенном одичании белогвардейцев, о своей эмигрантской тоске в Париже... Его разочаровало предсмертное веселье парижских кабаков, кошмары белогвардейских разстрелов и расправ... Он писал на родине еще и сатирическія картины нравов капиталистической Америки, о которых геніально писал и великий советский поэт Маяковский...»

Где все это напечатано? И на потеху кому?

Напечатано в Москве, в одном из главнейших советских ежемесячных журналов, в журнале «Новый Мір», где сотрудничают знатнейшие советские писатели. И вот сидишь в Париже и читаешь: «Совершенное одичание белогвардейцев... Кошмары белогвардейских расправ и разстрелов...» Но отчего же это так страшно одичали белогвардейцы больше всего в Париже? И с кем именно они расправлялись и кого разстреливали? И почему французское правительство смотрело сквозь пальцы на эти парижские кошмары? Довольно странно и «предсмертное» веселье парижских кабаков, разочаровавшее Толстого, который, очевидно был все-таки очарован им некоторое время: странно потому, что ведь вот уж сколько лет прошло с тех пор, как он разочаровался и от белогвардейских кошмаров решил бежать в Россію, где теперь никакіе сатрапы не превращают ее в тюремный лагерь, где никто ни с кем не расправляется, никого не разстреливают, а Париж все еще существует, не вымер, несмотря на свое «предсмертное» веселье во времена пребыванія в нем Толстого, и дошел в наши дни даже до гомерического разврата в весельи и роскоши: так, по крайней мере, утверждает некто Юрій Жуков, парижский корреспондент Москвы, напечатавший в другом московском ежемесячнике, в журнале «Октябрь», статью под заглавием «На Западе после войны»: этот Жуков сообщает, что по Большим парижским бульварам то и дело проходят францисканские монахи, от которых на километр разит самыми дорогими духами, и с утра до вечера «фланируют завитые и напомаженные молодые люди и дамы в самых умопомрачительных нарядах». Этот Жуков и про меня зачем-то солгал: будто я «маленький, сухонький, со скрипучим голосом и с лицом рафинированного эстета». Когда-то в Россіи говорили: «Врет как сивый мерин». далекія наивнія времена! Теперь, после тридцатилетнего, неустанного, ежедневного упражненія «Советов» во лжи, даже самый жалкий советский Жуков сто очков дает вперед любому сивому мерину! Сам Толстой, конечно, помирал со смеху, пиші свою автобіографію, говоря о своей эмигрантской тоске, о тех кошмарах, которые он будто бы переживал в Париже, а во время «первой русской революціи» и первой

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru  
мірової війни «массу» всяческих душевних и умственных терзаній, и о том, как он «растерялся» и бежал из Москвы в Одессу, потом в Париж... Он врал всегда беззаботно, легко, а в Москве, может быть, иногда и с надрывом, но, думаю явно актерским, не доводя себя до той истерической «искренности лжи», с какой весь свой век чуть ни рыдал Горькій.

Я познакомился с Толстым как раз в те годы, о которых (скорбя по случаю провала «первой революції») так трагически декламировал Блок: «мы, дети страшных лет Россіи, забыть не можем ничего!» – в годы между этой первой революцией и первой мірової війною. Я редактировал тогда беллетристику в журнале «Северное Сіяніе», который затеяла некая общественная деятельница, графиня Варвара Бобринская. И вот в редакцію этого журнала явился однажды рослый и довольно красивый молодой человек, церемонно представился мне («граф Алексей Толстой») и предложил для напечатанія свою рукопись под заглавіем «Сорочин сказки», ряд коротеньких и очень ловко сделанных «в русском стиле», бывшем тогда в моде, пустяков. Я, конечно, их принял, они были написаны не только ловко, но и с какой-то особой свободой, непринужденностью (которой всегда отличались все писанія Толстого). Я с тех пор заинтересовался им, прочел его «декадентскую книжку стихов», будто бы уже давно сожженную, потом стал читать все прочія его писанія. Тут то мне и открылось впервые, как разнообразны были они, – как с самого начала своего писательства проявил он великолепное умение поставлять на литературный рынок только то, что шло на нем ходко, в зависимости от тех или иных меняющихся вкусов и обстоятельств. Революціонных стихов его я никогда не читал, ничего не слыхал о них и от самого Толстого: может быть, он пробовал писать и в этом роде, в честь «первой революції», да скоро бросил – то ли потому, что уже слишком скучен показался ему этот род, то ли по той простой причине, что эта революція довольно скоро провалилась, хотя и успели русские мужички «богоносцы» сжечь и разграбить множество дворянских поместій. Что до «декадентской» его книжки, то я ее читал и, насколько помню, ничего декадентского в ней не нашел; сочиняя ее, он тоже следил тому, чем тоже увлекались тогда; стилизацией всего старинного и сказочного русского. За этой книжкой последовали его рассказы из дворянского быта, тоже написанные во вкусе тех дней: шарж, нарочитая карикатурность, нарочитыя (да и не нарочитыя) нелепости. Кажется, в те годы написал он и несколько комедій, приспособленных к провинціальным вкусам и потому очень выигрышных. Он, повторяю, всегда приспособлялся очень находчиво. Он даже свой роман «Хожденія по мукам», начатый печатаньем в Париже, в эмиграции, в эмигрантском журнале, так основательно приспособил впоследствіи, то есть возвратясь в Россію, к большевицким требованиям, что все «былые» герои и героини романа вполне разочаровались в своих прежних чувствах и поступках и стали заядлыми «красными». Известно кроме того, что такое, например, его роман «Хлеб», написанный для прославлення Столина, затем фантастическая чепуха о каком-то матросе, который попал почему-то на Марс и тотчас установил там коммуну, затем пасквильная повесть о парижских «акулах капитализма» из русских эмигрантов, владельцев нефти, под заглавіем «Черное золото»... Что такое его «Сатирическія картины нравов капиталистической Америки», я не знаю. Никогда не бывши в Америке, он, должно быть, осведомился об этих нравах у таких знатоков Америки, как Горький, Маяковский... Горький съездил в Америку еще в 1906 году и с присущей ему дубовой высокопарностью и мерзким безвкусієм назвал Нью-Йорк «Городом Желтаго дьявола», то есть золота, будто бы бывшаго всегда ненавистным ему, Горькому. Горький дал такую картину этого будто бы «дьявольского города»;

«Это – город, это – Нью-Йорк. Издали город кажется огромной челюстью с неровными черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающей ожирением. Войдя в него, чувствуешь, что попал в желудок из камня и железа. Улицы его – это скользкое, алчное горло, по которому плавут темные куски пищи, живые люди; вагоны городской железной дороги – огромные черви; локомотивы – жирные утки...»

После нашего знакомства в «Северном Сіяніи» я не встречался с Толстым года два или три: то путешествовал с моей второй женой по разным странам вплоть до тропических, то жил в деревне, а в Москве и в Петербурге бывал мало и редко. Но вот однажды Толстой неожиданно нанес нам визит в той московской гостинице, где мы останавливались, вместе с молодой черноглазой женщиной типа восточных красавиц. Соней Дымшиц, как называли ее все, а сам Толстой неизменно так: «моя жена, графиня Толстая». Дымшиц была одета изящно и просто, а Толстой каким-то странным важным барином из провинції: в цилиндре и в огромной медвежьей шубе. Я встретил их с любезностью, подобающей случаю, раскланялся с графиней и, не удержавшись от улыбки, обратился к графу:

– Очень рад возобновлению нашего знакомства, входите, пожалуйста, снимайте свою великолепную шубу...

И он небрежно пробормотал в ответ;

– Да, наследственная, остатки прежней роскоши, как говорится...

И вот эта-то шуба, может быть, и была причиной довольно скораго нашего пріятельства; граф был человек ума насмешливаго, юмористического, наделенный чрезвычайно живой наблюдательностью, поймал, вероятно, мою невольную улыбку и сразу сообразил, что я не из тех, кого можно дурачить. К тому же он быстро дружился с подходящими ему людьми и потому после двух, трех следующих встреч со мной уже смеялся, крякал над своей шубой, признавался мне:

– Я эту наследственность за грош купил по случаю, ея мех весь в гнусных лысинах от моли. А ведь какое барское впечатленіе производит на всех!

Говоря вообще о важности одежды, он морщился, поглядывая на меня:

– Никогда ничего путнаго не выйдет из вас в смыслі житейском, не умеете вы себя подавать людям! Вот как, например, невыгодно одеваетесь вы. Вы худы, хорошаго роста, есть в вас что-то старинное, портретное. Вот и следовало бы вам отпустить длинную узкую бородку, длинные усы, носить длинный сюртук в талію, рубашки голландского полотна с этаким артистически раскинутым воротом, подвязанным большим бантом чернаго шелка, длинные до плеч волосы на прямой ряд, отрастить чудесные ногти, украсить указательный палец правой руки каким-нибудь загадочным перстнем, курить маленькія гаванская сигаретки, а не пошляя папиросы... Это мошенничество, по-вашему? да кто ж теперь не мошенничает, так или иначе, между прочим, и наружностью! Ведь вы сами об этом постоянно говорите! И правда – один, видите ли, символист, другой – марксист, третій – футурист, четвертый – будто бы бывшій босяк... И все наряжены: Маяковскій носит женскую желтую кофту, Андреев и Шаляпин – поддевки, русскія рубахи на выпуск, сапоги с лаковыми голенищами. Блок бархатную блузу и кудри... Все мошенничают, дорогой мой!

Переселившись в Москву и снявши квартиру на Новинском бульваре, в доме князя Щербатова, он в этой квартире повесил несколько старых, черных портретов каких-то важных старииков и с притворной небрежностью бормотал гостям: «да, все фамильный хлам», а мне опять со смехом: «Купил на толкучке у Сухаревой башни!»

Так до самого захвата большевиками власти в октябре семнадцатаго года были мы с ним в мирных пріятельских отношеніях, но потом два раза поссорились. Жить стало уж очень трудно, начался голод, питаться мало мальски сносно можно было только при больших деньгах, а зарабатывать их – подлостью. И вот объявились в каком-то кабаке какая-то «Музыкальная табакерка» – сидят спекулянты, шулера, публичныя девки и жрут пирожки по сто целковых штука, пьют какое-то мерзкое подобіе коньяка, а поэты и беллетристы (Толстой, Маяковскій, Брюсов и прочіє) читают им свои и чужія произведенія, выбирая наиболе похабныя, произнося все заборныя слова полностью. Толстой осмелился предложить читать и мне, я обиделся и мы поругались. А затем появилось в печати произведение Блока «Двенадцать». Блок, как стало известно впоследствії, когда были опубликованы его дневники, писал незадолго до «февральской революції» так:

«Мятеж лиловых міров стихает. Скрипки, хвалившіе призрак, обнаруживают свою истинную природу. И в разреженном воздухе горькій запах миндаля. В лиловом сумраке необъятного міра качается огромный катафалк, а на нем лежит мертвая кукла с лицом, смутно напоминающем то, которое сквозило среди небесных роз...»

И еще так, столь же дьявольски поэтично:

«Едва моя невеста стала моей женой, как лиловые міры первой революціі захватили нас в вовлекли в водоворот. Я, первый, так давно хотевшій гибели, вовлекся в серый пурпур серебряной Звезды, в перламутр и аметист метели. За миновавшей метелью открылась железная пустота дня, грозившая новой выюгой. Теперь опять налетевшій шквал – цвета и запаха определить не могу».

Этот шквал и был февральской революціей и тут даже и для Блока все-таки определились вскоре цвет и запах нового «шквала», хотя и раньше не требовалось

для этого особо зоркого зрення и обоняння. Тут царський період руської історії кончился (при добрій помози солдат петербурзького гарнізона, не желавших іти на фронт), власті перешла к Временному Правительству, все царські министри були арестовані, посажені в Петропавловську крепость, і Временное Правительство почему-то пригласило Блока в «Чрезвычайную Комиссію» по разследованню деятельности этих министров, и Блок, получая 600 рублей в месяц жалованья, – сумму в то время еще значительную, – стал ездить на допросы, порой допрашивал и сам и непристойно издевался в своем дневнике, как это стало известно впоследствии, над теми, кого допрашивали. А затем произошла «Великая октятьська революція», большевики посадили в ту же крепость уже министров Временного Правительства, двух из них (Шингарева и Кокошина) даже убили, без всяких допросов, и Блок перешел к большевикам, стал личним секретарем Луначарского, после чего написал брошюру «Інтеллігенція і Революція», стал требовать: «Слушайте, слушайте, музыку революції!» и сочинил «Двенадцать», написав в своем дневнике для потомства очень жалкую выдумку: будто он сочинял «Двенадцать» как бы в трансе, «все время слыша какие то шумы – шумы падення старого міра». Московские писатели устроили собрание для чтения и разбора «Двенадцати», пошел и я на это собрание. Читал кто-то, не помню кто именно, сидевший рядом с Ильей Эренбургом и Толстым. И так как слова этого произведения, которое почему-то называли поэмой, очень быстро сделалась вполне неоспоримой, то, когда чтец кончил, воцарилось сперва благоговейное молчание, потом: послышались негромкія восклицанія; «Изумительно! Замечательно!» Я взял текст «Двенадцати» и, перелистывая его, сказал приблизительно так:

– Господа, вы знаете, что происходят в Россіи на позор всему человечеству вот уже целый год. Имени нет тем безмысленным зверствам, который творит русский народ с начала февраля прошлого года, с февральской революціи, которую все еще называют совершенно безстыдно «безкровной». Число убитых и замученных людей, почти сплошь ни в чем неповинных, достигло, вероятно, уже миллиона, целое море слез вдов и сирот заливает русскую землю. Убивают все, кому не лень; солдаты, все еще бегущие с фронта ошеломленной ордой, мужики в деревнях, рабочие и всякие прочие революционеры в городах. Солдаты, еще в прошлом году поднимавшие на штыки офицеров, все еще продолжают убийства, бегут домой захватывать и делить землю не только помещиков, но и богатых мужиков, по пути разрушают все, что можно, убивают железнодорожных служащих, начальников станций, требуя от них поездов, локомотивов, которых у тех нет... Из нашей деревни пишут мне, например, такое: мужики, разгромивши одну помещицю усадьбу, ошипали, оборвали для потехи перья с живых павлинов и пустили их, окровавленных, летать, метаться, тыкаться с пронзительными криками куда попало. В апреле прошлого года я был в имении моей двоюродной сестры в Орловской губерніи и там мужики, запаливши однажды утром соседнюю усадьбу, хотели меня, прибежавшего на пожар, бросить в огонь, в горевший вместе с живой скотиной скотный двор: огромный пьяный солдат дезертир, бывший в толпе мужиков и баб возле этого пожара, стал орать, что это я зажег скотный двор, чтобы сгорела вся деревня, прилегавшая к усадьбе, и меня спасло только то, что я стал еще бешеной орать на этого мерзавца матершиной, и он растерялся, а за ним растерялась и вся толпа, уже наседавшая на меня, и я, собрав все силы, чтобы не обернуться, вышел из толпы и ушел от нея. А вот на днях прибежал из Симферополя всем вам известный П., – я назвал точно его фамилию, – и говорит, что в Симферополе рабочие и дезертиры ходят буквально по колена в крови, живьем сожгли в паровозной топке какого-то старенькаго отставного военного. Не странно ли вам, что в такие дни Блок кричит на нас: «Слушайте, слушайте музыку революції!» и сочиняет «Двенадцать», а в своей брошюре «Інтеллігенція і революція» уверяет нас, что русский народ был совершенно прав, когда в прошлом октябре стрелял по соборам в Кремле, доказывая эту правоту такой ужасающей ложью на русских священнослужителей, которой я просто не знаю равной: «В этих соборах, говорит он, толстопузый поп целый столетія водкой торговал, икая!» Что до «Двенадцати», то это произведение и впрямь изумительно, но только в том смысле до чего оно дурно во всех отношениях. Блок нестерпимо поэтичный поэт, у него, как у Бальмонта, почти никогда нет ни одного словечка в простоте, все сверх всякой меры красиво, красноречиво, он не знает, не чувствует, что высоким стилем все можно опошлить. Но вот после великого множества нарочито загадочных, почти сплошь совершенно никому непонятных, литературно выдуманных символических, мистических стихов, он написал, наконец, нечто уже слишком понятное. Ибо уж до чего это дешевый, плоский трюк: он берет зимний вечер в Петербурге, теперь особенно страшном, где люди гибнут от холода, от голода, где нельзя выйти даже днем на улицу из боязни быть ограбленным и раздетым до гола, и говорит: вот смотрите, что творится там сейчас пьяной, буйной солдатней, но ведь в конце концов все ея деяния святы

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru разгульным разрушением прежней России и что впереди нея идет Сам Христос, что это Его апостолы;

Товарищ, винтовку держи не трусь!  
Пальнем-ка пулей в Святую Русь,  
В кондовую,  
В избянью,  
В толстозадую!

Почему Святая Русь оказалась у Блока только избяной да еще и толстозадой? Очевидно, потому, что большевики, лютые враги народников, все свои революционные планы и надежды поставившие не на деревню, не на крестьянство, а на подонки пролетариата, на кабацкую голь, на боярков, на всех тех, кого Ленин пленил полным разрешением «грабить награбленное». И вот Блок пошло издевается над этой избяной Русью, над Учредительным Собранием, которое они обещали народу до октября, но разогнали, захватив власть, над «буржуем», над обывателем, над священником:

От зданія к зданію  
На канате – плакат:  
«Вся власть Учредительному Собранию!»  
А вон и долгополый –  
Что нынче невеселый,

Товарищ, поп?  
Вон барыня в каракуле –  
Поскользнулась

И – бац – растянулась!  
«Двенадцать» есть набор стишков, частушек, то будто бы трагических, то плясовых, а в общем претендующих быть чем-то в высшей степени русским, народным. И все это прежде всего чертовски скучно безконечной болтливостью и однообразием все одного и того же разнообразия, надоедает несметными ай, ай, эх, эх, ах, ах, ой, ой, тратата, трахтахтах... Блок задумал воспроизвести народный язык, народные чувства, но вышло нечто совершенно лубочное, неумелое, сверх всякой меры вульгарное;

Буржуй на перекрестке  
В воротник упрятал нос...  
Стоит буржуй, как пес голодный,  
Стоит безмолвный, как вопрос,  
И старый мир, как пес безродный,  
Стоит за ним, поджавши хвост  
Свобода, свобода,  
Эх, эх, без креста!

Тратата!  
А Ванька с Катькой в кабаке,  
У ей керенки есть в чулке!  
Ну, Ванька, сукин сын, буржуй,  
Мою попробуй поцелуй!

Катька с Ванькой занята –  
Чем, чем занята?  
Снег крутит, лихач кричит,  
Ванька с Катькою летит –  
Електрический фонарик  
На оглобельках...  
Ах, ах, пади!

Это ли не народный язык! «Електрический! Попробуйте-ка произнести! И совершенно смехотворная нежность к оглоблям, – «оглобельки», – очевидно, тоже народная. А дальше нечто еще более народное;

Ах, ты Катя, моя Катя,  
Толстоморденская!  
Гетры серые носила,  
Шоколад Миньон жрала,  
С юнькерем гулять ходила,  
С солдатьем теперь пошла?  
Исторія с этой Катькой кончается убийством ея и истерическим раскаянием убийцы, какого-то Петрухи, товарища какого-то Андрюхи:

Опять навстречу несется вскачь,  
Летит, вопит, орет лихач...

Стой, стой! Андрюха, помогай,  
Петруха, сзаду забегай!  
Трахтахтахтах!  
Что, Катька, рада? – ни гугу!  
Лежи ты, падаль, на снегу!  
Эх, эх,  
Позабавиться не грех!  
Ты лети, буржуй, воробышком,  
Выпью кровушку  
За зазнобушку,  
Чернобровушку!  
И опять идут двенадцать,  
За плечами ружьца,  
Лишь у бедного убійцы  
Не видать совсем лица!

Бедный убійца, один из двенадцати Христовых апостолов, которые идут совершенно неизвестно куда и зачем, и из числа которых мы знаем только Андрюху и Петруху, уже ревет, рыдает, раскаивается, – ведь уж так всегда полагается, давно известно, до чего русская преступная душа любит раскаиваться:

Ох, товарищи родные,  
Эту девку я любил,  
Ночки черныя, хмельные  
С этой девкой проводил!

«Ты лети, буржуй, воробышком», – опять буржуй и уж совсем ни к селу, ни к городу, буржуй никак не был виноват в том, что Катька была с Ванькой занята, – а дальше кровушка, зазнобушка, чернобровушка, ночки черныя, хмельные – от этого то заборного, то сусального русского стиля с несметными восклицательными знаками начинает уже тошнить, но Блок не унимается:

Из-за удали бедовой  
В огневых ея очах,  
Из-за родинки пунцовой  
Возле правого плеча,  
Загубил я, безтолковый,  
Загубил я сгоряча.. Ах!

В этой архирусской трагедии не совсем ладно одно: сочетание толстой морды Катьки с «бедовой удали ея огневых очей». По-моему, очень мало идут огневые очи к толстой морде. Не совсем, кстати, и «пунцовую родинку», – ведь не такой уж изысканный ценитель женских прелестей был Петруха!

А «под занавес» Блок дурачит публику уж совсем галиматей, сказал я в заключение. Увлекшись Катькой, Блок совсем забыл свой первоначальный замысел «пальнуть в Святую Русь» и «пальнул» в Катьку, так что история с ней, с Ванькой, с лихачами оказалась главным содержанием «двенадцати». Блок опомнился только под конец своей «поэмы» и, чтобы поправиться, понес что попало: тут опять «державный шаг» и какой-то голодный пес – опять пес! – и патологическое кощунство: какой то сладкий Иисусик, пляшущий (с кровавым флагом, а вместе с тем в белом венчике из роз) впереди этих скотов, грабителей и убийц:

Так идут державным шагом –  
Позади – голодный пес,  
Впереди – с кровавым флагом,  
Нежной поступью надвьюжной,  
Снежной разсыпью жемчужной,  
В белом венчике из роз –  
Впереди – Иисус Христос!

Как ни вспомнить, сказал я, кончая, того, что говорил Фауст, которого Мефистофель привел в «Кухню Ведьм»:

Кого тут ведьма за нос водит?  
Как будто хором чушь городит  
Сто сорок тысяч дураков!

Вот тогда и закатил мне скандал Толстой; нужно было слышать, когда я кончил, каким петухом заорал он на меня, как театрально завопил, что он никогда не простит мне моей речи о Блоке, что он, Толстой, – большевик до глубины души, а я ретроград, контрреволюционер и т. д.

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru

Довольно странно было и другое знаменитое произведение Блока о русском народе под заглавием «Скифы», написанное («созданное», как неизменно выражаются его поклонники) тотчас после «двенадцати». Сколько было противных любовных волей Блока: «О, Русь моя, жена моя», и олеографического «узорного плато до бровей»! Но вот, наконец, весь русский народ, точно в угоду косоглазому Ленину, объявлен азіатом «с раскосыми и жадными очами». Тут, обращаясь к европейцам. Блок говорит от имени Россії не менее заносчиво, чем говорил от ея имени, например, Есенин («кометой вытяну язык, до Египта раскорячу ноги») и день и ночь говорит теперь Кремль не только всей Европе, но и Америке, весьма помогшей «скифам» спастись от Гитлера;

Милльоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы.  
Попробуйте сразиться с нами!  
да, скифы – мы! да, азіаты – мы  
С раскосыми и жадными очами!  
Вы сотни лет глядели на Восток,  
Копя и плавя наши перла,  
И вы, глумясь, считали только срок,  
Когда наставить пушек жерла!  
да, так любить, как любит наша кровь,  
Никто из вас давно не любит!  
Забыли вы, что в міре есть любовь,  
Которая и жжет и губит!  
Мы любим плоть – и вкус ея, и цвет,  
И душный, смертный плоти запах...  
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет  
В тяжелых, нежных наших лапах?  
Привыкли мы, хватая под уздцы  
Играющих коней ретивых,  
Ломать коням тяжелые крестцы  
И усмирять рабынь строптивых...

В этих комических угрозах, в этой литературщине, которой я привожу лишь часть, есть кое что совсем непонятное, что значит, например, «копя и плавя наши перла»? Все остальное что ни слово, то золото: тьмы азіатов, раскосыя и жадные очи, вкус и смертный запах плоти, тяжелая, нежная лапы, хрустящіе людскіе скелеты и даже ломаемые конскіе крестцы, хотя ломать их за игривость коней есть дело не только злое и глупое, но и совершенно невозможное физически, так что уж никак нельзя понять, почему именно «привыкли мы» к этому. «Скифы» – грубая подделка под Пушкина («Клеветникам Россії»). Не оригинально и самохвальство «Скифов»: это ведь наше исконное: «Шапками закидаем!» (иначе говоря: нас тьмы, и тьмы, и тьмы). Но что всего замечательнее, так это то, что как раз во время «созданія» «Скифов» уже окончательно и столь позорно, как никогда за все существование Россії, развалилась вся русская армія, защищавшая ее от немцев, и поистине «тьмы и тьмы скифов», будто бы столь грозных и могучих, – «Попробуйте сразиться с нами!» – удирали с фронта во все лопатки, а всего через месяц после того был подписан большевиками в Брест Литовске знаменитый «похабный мир»...

Мы с женой в конце мая того года уехали из Москвы в Одессу довольно законно: за год до февральской революції я offered большую услугу никоему приват доценту Фриче, литератору, читавшему где-то лекції, ярому соціал-демократу, спас его ходатайством перед московским градоначальником от высылки из Москвы за его подпольные революціонные брошюры, и вот, при большевиках, этот Фриче стал кем-то вроде министра иностранных дел, и я, явившись однажды к нему, потребовал, чтобы он немедленно дал нам пропуск из Москвы (до станції Орша, за которой находились области оккупированная) и он, растревявшись, не только поспешил дать этот пропуск, но предложил доехать до Орши в каком-то санитарном поезде, шедшем зачем-то туда. Так мы и уехали из Москвы, – навсегда, как оказалось, – и какое это было все-таки ужасное путешествие! Поезд шел с вооруженной охраной, – на случай нападения на него последних удиравших с фронта «скифов» – по ночам проходил в темноте и весь затемненный станції, и что только было на вокзалах этих станцій, залитых рвотой и нечистотами, оглашаемых дикими, надрывными, пьяными воплями и песнями, то есть «музыкой революції»!

В тот год власть большевиков простидалась еще на небольшую часть Россії, все остальное было или свободно или занято немцами, австрійцами, и с их согласія и при их поддержке управлялось самостійтельно. В тот год уже шло великое бегство из Великороссії людей всех чинов и званій, всякого пола и возраста – всякий, кто мог, бежал в еще свободную и неголодающую Россію. И вот оказался через некоторое

время и Толстой в числе бежавших. В августе приехала в Одессу его вторая жена, поэтесса Наташа Крандіевская, с двумя детьми, потом появился и он сам. Тут он встретился со мной как ни в чем ни бывало и кричал уже с полной искренностью и с такой запальчивостью, какой я еще не знал в нем:

– Вы не поверите, – кричал он, – до чего я счастлив, что удрал наконец от этих негодяев, засевших в Кремле, вы, надеюсь, отлично понимали, что орал я на вас на этом собраниі по поводу идиотских «Двенадцати» и потом все время подличал только потому, что уже давно решил удрать и при том как можно удобнее и выгоднее. Думаю, что зимой будем, Бог даст, опять в Москве. Как ни оскотинел русскій народ, он не может не понимать, что творится! Я слышал по дороге сюда, на остановках в разных городах и в поездах, такія речи хороших, бородатых мужиков насчет не только всех этих Свердловых и Троцких, но и самого Ленина, что меня мороз по коже драл! Погоди, погоди, говорят, доберемся и до них! И доберутся! Бог свидетель, я бы сапоги теперь целовал у всякого царя! У меня самаго рука бы не дрогнула ржавым шилом выколоть глаза Ленину или Троцкому, попадись они мне, – вот как мужики выкалывали глаза заводским жеребцам и маткам в помещичьих усадьбах, когда жгли и грабили их!

Осень, а затем зиму, очень тревожную, со сменой властей, а иногда и с уличными боями, мы и Толстые прожили в Одессе все-таки более или менее сносно, кое что продавали разным то и дело возникавшим по югу Россіи книгоиздательствам, – Толстой, кроме того, получал неплохое жалованье в одном игорном клубе, будучи там старшиной, – но в начале апреля большевики взяли наконец и Одессу, обративши в паническое бегство французскія и греческія воинскія части, присланные защищать ее, и Толстые тоже стремительно бежали морем (в Константинополь и дальше), мы же не успели бежать вместе с ними: бежали в Турцію, потом в Болгарію, в Сербію и наконец во Францію чуть ни через год после, того, прожив почти пять нескованно мучительных месяцев под большевиками, освобождены были Добровольцами Деникина, – его главная армія чуть не дошла в ту, вторую, осень до Москвы, – но в конце января 1920 года опять чуть не попали под власть большевиков и тут уже навеки простились с Россіей.

Почему мы не погибли в Черном море на пути в Константинополь, одному Богу ведомо. Мы ушли из города в порт пешком, темным, грязным вечером, когда большевики уже входили в город, и едва втиснулись в несметную толпу прочих беженцев, набившихся в маленький, ветхій греческій пароход «Патрас», а нас было четверо: с нами был знаменитый русскій ученый Никодим Павлович Кондаков, грузный старик лет 75, и молодая женщина, бывшая секретарем его и почти нянькой. Шли мы затем до Константина поля двое суток в снежную бурю, капитан «Патраса» был пьяница албанец, не знаяший Черного моря, и, если бы случайно не оказался на «Патрасе» русскій моряк, заменивший его, потонул бы «Патрас» со всеми своими несчастными пассажирами непременно. А в Константинополь мы пришли в ледяные сумерки с пронзительным ветром и снегом, пристали под Стамбулом, и тут должны были идти под душ в каменный сарай – «для дезинфекции». Константинополь был тогда оккупирован союзниками, и мы должны были идти в этот сарай по приказу французского доктора, но я так закричал, что мы с Кондаковым «Immortels», «Бесмертные» (ибо мы с Кондаковым были членами Россійской Императорской Академіи), что доктор, вместо того, чтобы сказать нам:

«Но тем лучше, вы, значит, не умрете от этого душа», сдался и освободил нас от него. Зато нас вместе с нашим жалким беженским имуществом покидали по чьему то приказанию на громадный, грохочущій каміон и домчали за Стамбул, туда, где начинаются так называемыя Поля Мертвых, и оставили ночевать в какой-то совершенно пустой руине тоже огромнаго турецкаго дома, и мы спали там на полу в полной тьме, при разбитых окнах, а утром узнали, что руина эта еще недавно была убежищем прокаженных, охраняемая теперь великим негром, и только к вечеру перебрались в Галату, в помещеніе уже упраздненнаго русскаго консульства, где до отъезда в Софію спали тоже на полу.

Толстой осенью 1919 года, когда в Одессе была власть Деникина, послал мне из Парижа два письма. Он писал очень сердечно:

«Мне было очень тяжело тогда (в апреле) разставаться с Вами. Час был тяжелый. Но тогда точно ветер подхватил нас, и опомнились мы не скоро, уже на пароходе. Что было претерплено – не разказать. Спали мы с детьми в сыром трюме, рядом с тифозными и по нас ползали вши. Два месяца сидели на собачьем острову в Мраморном море. Место было красивое, но денег не было. Три недели ехали мы

**Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru**  
(потом) в каюте, которая каждый день затоплялась водой из солдатской портомойни, но зато все это искупилось, пребыванием здесь (во Франції). Здесь так хорошо, что было бы совсем хорошо, если бы не сознаніе, что родные наши и друзья в это время там мучаются».

В другом письме он сообщал:

«Милый Иван Алексеевич, князь Георгій Евгеньевич Львов (бывшій глава Временного Правительства, он сейчас в Париже) говорил со мной о Вас, спрашивал, где Вы и нельзя ли Вам предложить эвакуироваться в Париж. Я сказал, что Вы по всей вероятности согласились бы, если бы Вам был гарантирован минимум для жизни вдвое. Я думаю, милый Иван Алексеевич, что Вам было бы сейчас благоразумно решиться на эту эвакуацию. Минимум Вам будет гарантирован, кроме того к Вашим услугам журнал «Грядущая Россия» (начавший выходить в Париже), затем одно огромное изданія, куда я приглашен редактором, кроме того изданія Ваших книг по-русски, немецки и англійски. Самое же главное, что Вы будете в благодатной и мирной стране, где чудесное красное вино и все, все в изобилиї. Если вы пріедете или известите заранее о Вашем пріезде, то я сниму виллу под Парижем в Сен-Клу или в Севре с тем расчетом, чтобы Вы с Верой Николаевной поселились у нас. Будет очень очень хорошо...»

В первом письме были еще такія строки:

«Пришлите, Иван Алексеевич, мне Ваши книги и разрешение для перевода рассказов на французскій язык. Ваши интересы я буду блюсти и деньги высыпать честно, т. е. не зажиливать. В Париже Вас очень хотят переводить, а книг нет... Все это время работаю над, романом, листов в 18-20. Написано – одна треть. Кроме того, подрабатываю на стороне и честно и похабно, – сценарій... франція – удивительная, прекрасная страна, с устоями, с доброй стариной, обжитой дом... Большевиков здесь быть не может, что бы ни говорили... Крепко и горячо обнимаю Вас, дорогой Иван Алексеевич...»

Константинополь, Болгарія, Сербія, Чехія – всюду в ту пору было полно русскими беженцами. То же было и в Париже, Париж, куда мы приехали в самом конце марта, встретил нас не только радостной красотой своей весны, но и особенным многолюдством русских, многія имена которых были известны не только всей Россії, но и Европе, – тут были некоторые уцелевшие великие князья, миллионеры из дельцов, знаменитые политические и общественные деятели, депутаты Государственной Думы, писатели, художники, журналисты, музыканты, и все были, не взирая ни на что, преисполнены надежд на возрождение Россіи и возуждены своей новой жизнью и той разнообразной деятельности, которая развивалась все более и более на всех поприщах. И с кем только не встречались мы чуть ни каждый день в первые годы эмиграции на всяких заседаніях, собраниях и в частных домах! Деникин, Керенский, князь Львов, Маклаков, Стакович, Милюков, Струве, Гучков, Набоков, Савинков, Бурцев, композитор Прокофьев, из художников – Яковлев, Малявин, Судейкин, Бакст, Шухаев; из писателей – Мережковские, Куприн, Алданов, Тэффи, Бальмонт. Толстой был прав в письмах ко мне в Одессу – в бездействії и в нужде тут нельзя было тогда погибнуть. Вскоре и мы не плохо устроились материально, а Толстые и того лучше, да и как могло быть иначе? Толстой однажды явился ко мне утром и сказал: «едем по буржуям собирать деньги; нам, писакам, надо затеять свое собственное книгоиздательство, русских журналов и газет в Париже достаточно, печататься нам есть где, но этого мало, мы должны еще и издаваться!» И мы взяли такси, навестили нескольких «буржуев», каждому из них излагая цель нашего визита в нескольких словах, каждым были приняты с отменим радушіем, и в три-четыре часа собрали 160 тысяч франков, а что это было тридцать лет тому назад! И книгоиздательство мы вскоре основали и оно было тоже немалым материальным подспорьем не только нам с Толстыми. Но у Толстых была постоянная беда: денег им никогда не хватало. Не раз говорил он мне в Париже:

– Господи, до чего хорошо живем мы во всех отношеніях, за весь свой век не жил я так, только вот деньги черт их знает куда страшно быстро исчезают в суматохе...

– В какой суматохе?

– Ну я уж не знаю, в какой; главное то, что пустые карманы я совершенно ненавижу, поехать куда-нибудь в город, смотреть на витрины без возможности купить что-нибудь – истинное мученіе для меня; покупать я люблю даже всякую совсем ненужную ерунду до страсти! Кроме того, ведь нас пять человек, считая эту

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru  
эстонку при детях. Вот и надо постоянно ловчиться...

Раз он сказал совсем другое: «А будь я очень богат, было бы чертовски скучно...» Но пока ловчиться все же было надо, и он ловчился: пріехав в Париж, встретил там старого московского друга Крандіевских, состоятельного человека, и при его помощи не только жил первое время, но даже и оделся и обулся с порядочным запасом:

– Я не дурак, говорил он мне, смеясь, – тотчас накупил себе белья, ботинок, у меня их целых шесть пар и все лучшей марки и на великолепных колодках, заказал три пиджачных костюма, смокинг, два пальто... Шляпы у меня тоже превосходныя, на все сезоны...

В надежде на паденіе большевиков некоторые парижскіе русскіе богатые люди и банки покупали в первые годы эмиграціи разные имущества эмигрантов, оставшіся в Россіи, и Толстой продал за 18 тысяч франков свое несуществующее в Россіи имение и, выпучивал глаза, рассказывая мне об этом:

– Понимаете, какая дурацкая исторія вышла: я все им изложил честь честью, и сколько десятин, и сколько пахотной земли и всяких угодій, как вдруг спрашивают: а где же находится это именіе? Я, было, заметался, как сукин сын, не зная, как соврать, да к счастью вспомнил комедію «Каширская старина» и быстро говорю; в каширском уезде, при деревне Порточки... И, слава Богу, продал!

Жили мы с Толстыми в Париже особенно дружно, встречались с ними часто, то бывали они в гостях у наших общих друзей и знакомых, то Толстой приходил к нам с Наташой, то присыпал нам записочки в таком, например, роде:

«У нас нынче, буйабез от Прюнье и такое Пуи (древнее), какого никто и никогда не пивал, четыре сорта сыру, котлеты от Потэн, и мы с Наташой боимся, что никто не придет. Умоляю – быть в семье с половиной!»

«Может быть, вы и Цетлины зайдете к нам вечерком – выпить стакан доброго вина и полюбоваться огнями этого чудного города, который так далеко виден с нашего шестого этажа. Мы с Наташой к вашему приходу оклеим прихожую новыми обоями...»

Но прошел год, прошел другой, денег не хватало все чаще, и Толстой стал бормотать:

– Совершенно не понимаю, как быть дальше! Сорвал со всех, с кого было можно, уже 37 тысяч франков, – в долг, разумеется, как это принято говорить между порядочными людьми, – теперь бледнеют, когда я вхожу в какой-нибудь дом на обед или на вечер, зная, что я тотчас подойду к кому-нибудь, притворно задыхаясь: тысячу франков до пятницы, иначе мне пуля в лоб!

Наташу Толстую я узнал еще в декабре 1903 года в Москве. Она пришла ко мне однажды в морозные сумерки, вся в инее, – иней опушил всю ее беличью шапочку, беличий воротник и шубки, ресницы, уголки губ, – и я просто поражен был ее юной прелестью, ее девичьей красотой и восхищен талантливостью ее стихов, которые она принесла мне на просмотр, которые она продолжала писать и впоследствіи, будучи замужем за своим первым мужем, а потом за Толстым, но все-таки почему то совсем бросила еще в Париже. Она тоже не любила скучной жизни, говорила:

– Что ж, в эмиграции, конечно, не дадут умереть с голода, а вот ходить оборванной и в разбитых башмаках дадут...

Думаю, что она немало способствовала Толстому в его конечном решенія возвратиться в Россію.

Как бы то ни было, летом 1921 года Толстой еще не думал, кажется, не только о Россіи, но и о Берлине. То лето Толстые проводили под Бордо, в небольшом именіи, купленном «Земгором» из остаток его общественных средств, и Толстой писал мне оттуда:

«Милые друзья, Иван и Вера Николаевна, было бы напрасно при Вашей недоверчивости уверять Вас, что я очень давно собирался вам писать, но откладывал исключительно по причине того, что напишу завтра... Как вы живете? Живем мы в этой дыре неплохо, питаемся лучше, чем в Париже и дешевле больше чем вдвое. Если бы были хоть

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru  
«тигельные» денежки – рай, хотя скучно. Но денег нет совсем и, если ничего не случится хорошего осенью, то и с нами ничего хорошего не случится. Напиши мне, Иван милый, как наши общія дела? Бог смерти не дает – надо кряхтеть! Пишу довольно много. Окончил роман и переделываю конец. Хорошо было бы, если бы вы оба приехали сюда зимовать, мы бы перезимовали вместе. Дом комфортабельный и жили бы мы чудесно и дешево, в Париж можно было бы наездить. Подумай, напиши...»

Но к осени ничего хорошего не случилось, не случилось ничего хорошего и с Толстыми. И однажды осенним вечером мы, вернувшись домой, нашли его карточку, на которой были написаны в некотором роде роковые слова:

«Приходил читать роман и проститься».

Следующія письма были уже из Берлина (всюду привожу лишь выдержки):

«16 ноября 1921 г. Милый Иван, приехали мы в Берлин, – Боже, здесь все иное. Очень похоже на Россію, во всяком случае очень близко от Россіи. Жизнь здесь приблизительно как в Харькове при Гетмане; марка падает, цены растут, товары прячутся. Но есть, конечно, и существенное отличие: там вся жизнь построена была на песке, на политике, на авантюре, – революція была только заказана сверху. Здесь чувствуется покой в массе парода, воля к работе, немцы работают как никто.. Большевизма здесь не будет, это уже ясно. На улице снег, совсем как в Москве в конце ноября, – все черное. Живем мы в пансіоне, недурно, но тебе бы не понравилось. Вина здесь совсем нет, это очень большое лишеніе а от здешняго пива гонят в сон и в мочу... Здесь мы пробудем недолго и затем едем – Наташа с детьми в Фрейбург, я – в Мюнхен... Здесь во всю идет издательская деятельность. На марки все это грош, но, живя в Германіи, зарабатывать можно не плохо. По всему видно, что у здешних издателей определенные планы торговать книгами с Россіей. Вопрос со старым правописанием очевидно будет решен в положительном смысле. Скоро, скоро наступят времена полегче наших...»

«Суббота, 21 января 1922 г. Милый Иван, прости, что долго не отвечал тебе, недавно вернулся из Мюнстера и, закружившись, как это ты сам понимаешь, в вихре великосветской жизни, откладывал ответы на письма. Я удивляюсь – почему ты так упорно не хочешь ехать в Германію, на те, например, деньги, который ты получил с вечера, ты мог бы жить в Берлине вдвоем в лучшем пансіоне, в лучшей части города 9 месяцев, жил бы барином, ни о чем не заботясь. Мы с семьей, живя сейчас на два дома, проживаем 13-14 тысяч марок в месяц, то есть меньше тысячи франков. Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то я буду обеспечен на лето, т. е. на самое тяжелое время. В Париже мы бы умерли с голода. Заработки здесь таковы, что, разумеется, работой в журналах мне с семьей прокормиться трудно, – меня поддерживают книги, но ты одной бы построчной платой мог бы существовать безбедно... Книжный рынок здесь очень велик и развивается с каждым месяцем, покупается все, даже такія книги, которые в довоенное время в Россіи сели бы. И есть у всех надежда, что рынок увеличится продвижением книг в Россію; часть книг уже проникает туда, – не говоря уже о книгах с соглашательским оттенком, проникает обычная литература... Словом, в Берлине сейчас уже около 30 издательств, и все оне, так или иначе, работают... Обнимаю тебя. Твой А. Толстой».

Очень значительна в этом письме строка;

«Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то я буду обеспечен на лето...» Значит, он тогда еще и не думал о возвращении в Россію. Однако, это письмо было уже последним его письмом ко мне.

В последній раз я случайно встретился с ним в ноябре 1936 г., в Париже. Я сидел однажды вечером в большом людном кафе, он тоже оказался в нем, – зачем-то приехал в Париж, где не был со времени отъезда своего сперва в Берлин, потом в Москву, – издалека увидел меня и прислал мне с гарсоном клочек бумажки: «Иван, я здесь, хочешь видеть меня? А. Толстой». Я встал и пошел в ту сторону, которую указал мне гарсон. Он тоже уже шел навстречу мне и, как только мы сошлись, тотчас закрякал своим столь знакомым мне смешком и забормотал: «Можно тебя поцеловать? Не боишься большевика?» – спросил он, вполне откровенно насмехаясь над своим большевизмом, и с такой же откровенностью, той же скороговоркой и продолжал разговор еще на ходу:

– Страшно рад видеть тебя и спешу тебе сказать, до каких же пор ты будешь тут сидеть, дожидаясь нищей старости? В Москве тебя с колоколами бы встретили, ты

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru представить себе не можешь, как тебя любят, как тебя читают в Россіи...

Я перебил, шутя:

– Как же это с колоколами, ведь они у вас запрещены.

Он забормотал сердито, но с горячей сердечностью:

– Не придирайся, пожалуйста, к словам. Ты и представить себе не можешь, как бы ты жил, ты знаешь, как я, например, живу? У меня целое поместье в Царском Селе, у меня три автомобиля... У меня такой набор драгоценных англійских трубок, каких у самого англійского короля нету... Ты что ж, воображаешь, что тебе, на сто лет хватит твоей нобелевской премії?

Я поспешил переменить разговор, посидел с ним недолго, – меня ждали те, с кем я пришел в кафе, – он сказал, что завтра летит в Лондон, но позвонит мне утром, чтобы условиться о новой встрече, и не позвонил, – «в суматохе!» – и вышла эта встреча нашей последней. Во многом он был уже не тот, что прежде: вся его крупная фигура похудела, волосы поредели, большія роговыя очки заменили пенснэ, пить ему было уже нельзя, запрещено докторами, выпили мы с ним, сидя за его столиком, только по одному фужеру шампанского...

1949 г.

## МАЯКОВСКІЙ

Кончая свои писательскія воспоминанія, думаю, что Маяковскій останется в исторіи литературы большевицких лет как самый низкій, самый циничный и вредный слуга советского людоедства по части литературного восхваленія его и тем самым воздействія на советскую чернь, – тут не в счет, конечно, только один Горькій, пропаганда которого с его міровой знаменитостью, с его большими и примитивными литературными способностями, как нельзя более подходящими для вкусов толпы, с огромной силой актерства, с гомерической лживостью и безпримерной неутомимостью в ней оказала такую страшную преступную помощь большевизму поистине «в планетарном масштабе». И советская Москва не только с великой щедростью, но даже с идіотской чрезмерностью отплатила Маяковскому за все его восхваленія ея, за всяческую помошь ей в деле развращенія советских людей, в сниженіи их нравов и вкусов. Маяковскій превознесен в Москве не только как великий поэт. В связи с недавней двадцатилетней его самоубійства московская «Литературная газета» заявила, что «имя Маяковского воплотилось в пароходы, школы, танки, улицы, театры и другія долгія дела. Десять пароходов «Владимір Маяковскій» плавают по морям и рекам. «Владимір Маяковскій» было начертено на броне трех танков. Один из них дошел до Берлина, до самого рейхстага. Штурмовик «Владимір Маяковскій» разил врага с воздуха. Подводная лодка «Владимір Маяковскій» топила корабли в Балтике. Имя поэта носят: площадь в центре Москвы, станція метро, переулок, библиотека, музей, район в Грузії, село в Арmenії, поселок в Калужской области, горный пик на Памире, клуб литераторов в Ленинграде, улицы в пятнадцати городах, пять театров, три Городских парка, школы, колхозы...» (А вот Карлу Либкнехту не повезло: во всей советской Россіи есть всего на всего единственный «Гусиный колхоз имени Карла Либкнехта»). Маяковскому пошло на пользу даже его самоубійство: оно дало повод другому советскому поэту, Пастернаку, обратиться к его загробной тени с намеком на что-то даже очень возвышенное:

Твой выстрел был подобен Этне  
В предгорье трусов, и трусих!

Казалось бы, выстрел можно уподоблять не горе, а какому-нибудь действію, – обвалу, изверженію... Но поэлику Пастернак считается в советской Россіи да многими и в эмиграции тоже геніальным поэтом, то и выражается он как раз так, как и подобает теперешним геніальным поэтам, и вот еще один пример тому из его стихов:

Поэзія, я буду клясться тобой и кончу, прохрипел: ты не осанка сладкогласца, ты лето с местом в третьем классе, ты пригород, а не припев.

Маяковскій прославился в некоторой степени еще до Ленина, выделился среди всех тех мошенников, хулиганов, что назывались футуристами. Все его скандальная выходки в ту пору были очень плоски, очень дешевые, все подобны выходкам Бурлюка, Крученых и прочих. Но он их всех превосходил силой грубости и дерзости. (Вот его

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru

знаменитая желтая кофта и дикарски раскрашенная, морда, но сколь эта морда зла и мрачна! Вот он, по воспоминаніям одного из его тогдаших пріятелей, выходит на эстраду читать свои вирши публике, собравшейся потешаться им: выходит, засунув руки в карманы штанов, с папиросой, зажатой в углу презрительно искривленного рта. Он высок ростом, статен и силен на вид, черты его лица резки и крупны, он читает, то усиливая голос до рева, то лениво бормоча себе под нос; кончив читать, обращается к публике уже с прозаической речью:

– Желающіе получить в морду благоволят становиться в очередь.

Вот он выпускает книгу стихов, озаглавленную будто бы необыкновенно остроумно: «Облако в штанах». Вот одна из его картин на выставке, – он ведь был и живописец: что-то как попало наляпано на полотне, к полотну приклеена обыкновенная деревянная ложка, а внизу подпись: «Парикмахер ушел в баню»...

Если бы подобная, картина была вывешена где-нибудь на базаре в каком-нибудь самом захолустном русском городишке, любой прохожій мещанин, взглянув на нее, только покачал бы головой и пошел дальше, думая, что выкинул эту штуку какой-нибудь дурак набитый или помешанный. А Москву и Петербург эта штука все-таки забавляла, там она считалась «футуристической». Если бы на какой-нибудь ярмарке балаганный шут крикнул толпе становиться в очередь, чтобы получать по морде, его немедля выволокли бы из балагана и самого измordовали бы до безчувствія. Ну, а русская столичная интеллигенція все-таки забавлялась Маяковскими и вполне соглашалась с тем, что их выходки называются футуризмом.

В день объявленія первой русской войны с немцами Маяковскій влезает на пьедестал памятника Скобелеву в Москве и ревет над толпой патріотическими виршами. Затем, через некоторое время, на нем цилиндр, черное пальто, черные перчатки, в руках трость черного дерева, и он в этом наряде как-то устраивается так, что на войну его не берут. Но вот наконец воцаряется косоглазый, картавый, лысый сифилитик Ленин, начинается та эпоха, о которой Горькій незадолго до своей насильственной смерти брякнул: «Мы в стране, освещенной гением Владимира Ильича Ленина, в стране, где неутомимо и чудодейственно работает железная воля Іосифа Сталина!» Воцарившись, Ленин, «величайший гений всех времен и народов», как неизменно называет его теперь Москва, провозгласил:

«Буржуазный писатель зависит от денежного мешка, от подкупа. Свободны ли вы, господа писатели, от вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографіи в рамках и картинках, проституції в виде «дополненія» к «святому искусству» вашему?»

«Денежный мешок, порнографія в рамках и картинках, проституція в виде дополненія...» Какой словесный дар, какой убийственный сарказм! Недаром твердит Москва и другое: «Ленин был и величайшим художником слова». Но всего замечательней то, что он сказал вскоре после этого:

«Так называемая «свобода творчества» есть барскій анахронизм. Писатели должны непременно войти в партійныя организаціи».

И вот Маяковскій становится уже неизменным слугою РКП (Россійской Коммунистической Партиї), начинает буйнить в том же роде, как боялся, будучи футуристом: орать, что «довольно жить законами Адама и Евы», что пора «скинуть с корабля современности Пушкина», затем – меня: твердо сказал на каком-то публичном собраніи (по свидетельству Е. Д. Кусковой в ея статьях «до и после», напечатанных в прошлом году в «Новом Русском Слове» по поводу моих «Автобіографических заметок»):

«Искусство для пролетаріата не игрушка, а оружіе. Долой «Буниновщину» и да здравствуют передовые рабочіе круги!»

Что именно требовалось, как «оружіе», этим кругам, то есть, проще говоря, Ленину с его РКП, единственной партіей, которой он заменил все прочія «партийныя организаціи»? Требовалась «фабрикація людей с материалистическим мышленiem, материалистическими чувствами», а для этой фабрикаціи требовалось все наиболее заветное ему, Ленину, и всем его соратникам и наследникам: стереть с лица земли и оплевать все прошлое, все, что считалось прекрасным в этом прошлом, разжечь самое окаянное богохульство, – ненависть к религії была у Ленина совершенно патологическая, – и самую зверскую классовую ненависть, перешагнуть все пределы

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru в безпримерно похабном самохвальстве, и прославленіи РКП, неустанно воспевать «вождей», их палачей, их опричников, – словом как раз все то, для чего трудно было найти более подходящего певца, «поэта», чем Маяковскій о его злобной, безстыдной, категорно-бессердечной натурой, с его площадной глоткой, с его поэтичностью ломовой лошади и заборной бездарностью даже в тех дубовых виршах, которые он выдавал за какой-то новый род якобы стиха, а этим стихом выразить все то гнусное, чему он был столь привержен, и все свои лживые восторги перед РКП и ея главарями, свою преданность им и ей. Ставши будто бы яростным коммунистом, он только усилил и развил до крайней степени все то, чем добывал себе славу, будучи футуристом, ошеломляя публику грубостью и пристрастiem ко всякой мерзости. Он называл звезды «плевочками», он, рассказывая в своих ухабистых виршах о своем путешествіи по Кавказу, сообщил, что сперва поплевал в Терек, потом поплевал в Арагву; он любил слова еще более гадкія, чем плевочки, – писал, например, Есенину, что его, Есенина, имя «публикой осоплено», над Америкой, в которой он побывал впоследствії, издавался в том же роде:

Мамаша грудь ребенку дала.

Ребенок, с каплями на носу, сосет как будто не грудь, а доллар – занят серьезным бизнесом.

Он любил слово «блевотина», – писал (похоже, что о самом себе):

Бумаги гладь облевывает пером, концом губы поэт, как блядь рублевая.

Подобно Горькому, будто бы ужасно ненавидевшему золото, – Горькій уже много лет тому назад свирепо назвал Нью-Йорк «Городом Желтаго Дьявола», то есть золота, – он, Маяковскій, золото тоже должен был ненавидеть, как это полагается всякому прихлебателю РКП, и потому писал:

Пока доллар всех поэм родовей, лапя, хапая, выступает, порфиру надев, Бродвей: капитал – его препохабie!

Горькій посетил Америку в 1906 году, Маяковскій через двадцать лет после него – и это было просто ужасно для американцев: я недавно прочел об этом в московской «Литературной газете», в почтенном органе Союза советских писателей, там в статье какого-то Атарова сказано, что на его столе лежит «удивительная, подлинно великая книга» прозы и стихов Маяковского об Америке, что книга эта «плод пребыванія Маяковского в Нью-Йорке» и что после приезда его туда «у американских мастеров бизнеса были серьезные причины тревожиться: в их страну приехал великий поэт революцій!»

С такой же силой, с какой он устрашил и разоблачил Америку, он воспевал РКП:

Мы не с мордой, опущенной вниз, мы – в новом, грядущем быту, помноженном на электричество и коммунизм...

Поэтом не быть мне бы, если б не это пел: в звездах пятиконечных небо безмерного свода РКП.

Что совершалось под этим небом в пору писаній этих виршей? Об этом можно было прочесть даже и в советских газетах:

«3г-о іюня на улицах Одессы подобрано 142 трупа умерших от голода, 5-го іюня – 187. Граждане! Записывайтесь в трудовые артели по уборке трупов!»

«Под Самарой пал жертвой людоедства бившій член Государственной Думы Крылов, врач по профессії: он был, вызван в деревню к больному, но по дороге убит и съеден».

Воспоминанія. Іван Алексеевич Бунін buninivan.ru

В ту же пору так называемий «(Всероссійскій Староста» Калинін: посетил юг Россії и тоже вполне откровенно засвидетельствовал:

«Тут одни умирают от голода, другіе хоронят, стремясь использовать в пищу мягкія части умерших».

Но что до того было Маяковским, Демьянам и многим, многим прочим из их числа, жравшим «на полный рот», носившим шелковое белье, жившим в самых знаменитых «Подмосковных», в московских особняках прежних московских миллионеров! Какое дело было Владиміру Маяковскому до всего того, что вообще совершалось под небом РКП? Какое небо, кроме этого неба, мог он видеть? Разве не сказано, что «свинье неба во веки не видать»? Под небом РКП при начале воцаренія Ленина ходил по колено в крови «революціонный народ», затем кровопролитіем занялся Феликс Эдмундович Дзержинскій и его сподвижники. И вот Владимір Маяковскій превзошел в те годы даже самых отъявленных советских злодеев и мерзавцев. Он писал:

Юноше, обдумывающему житье, решающему – сделать бы жизнь с кого, скажу, не задумываясь: делай ее с товарища Дзержинского!

Он, призывая русских юношей идти в палачи, напоминал им слова Дзержинского о самом себе, совершенно бредовыя в устах изверга, истребившаго тысячи и тысячи жизней:

«Кто любит жизнь так сильно, как я, тот отдает свою жизнь за других».

А наряду с подобными призывами не забывал Маяковскій славословить и самих творцов РКП, – лично их:

Партія и Ленин кто более матери исторіи ценен?

Я хочу, что б к штыку приравняли перо.

С чугуном чтоб и с выделкой стали о рабств стихов от Политбюро чтобы делал доклады Сталин.

И вот слава его, как великаго поэта, все растет и растет, поетическія творенія его издаются «громадными тиражами по личному приказу из Кремля», в журналах платят ему за каждую строку даже в одно слово гонорары самые что ни на есть высокіе, он то и дело вояжирует в «гнусныя» капиталистические страны, побывал в Америке, несколько раз приезжал в Париж и каждый раз имел в нем довольно долгое пребываніе, заказывал белье и костюмы в лучших парижских домах, рестораны выбирал тоже наиболее капиталистические, но «поплевал» и в Париже, – заявил с томной презрительностью пресыщенаго пшюта:

Я не люблю парижскую любовь – любую самочку шелками разукрасьте, потягиваясь, задремлю, сказав «тубо» собакам озверевшей страсти.

«Большим поэтом» окрестил его, кажется, раньше всех Горькій: пригласил его к себе на дачу в Мустамяки, чтобы он прочитал у него в небольшом, но весьма избранном обществе свою поэму «Флейта-Позвоночник», и когда Маяковскій кончил эту поэму, со слезами пожал ему руку:

– Здорово, сильно... Большой поэт!

А всево несколько лет тому назад прочитал я в журнале «Новоселье», издававшемся тогда еще в Нью-Йорке, нечто уже совершенно замечательное:

«Потуги вычеркнуть Маяковского из русской и всемірной литературы отброшены последними годами в далекое архивное прошлое».

Это начало статейки, напечатанной в «Новосельи» г-ном Романом Якобсоном, очень видным славистом, весьма известным своими работами по изученію «Слова о Полку Игореве», – он, русскій по происхожденію, когда-то учившійся в одной гимназіи с Маяковским в Москве, был сперва профессором в Праге, затем в Нью-Йорке и наконец получил кафедру в Харвардском университете, лучшем в Америке.

Не знаю, кто «тужился» развенчать Маяковского, – кажется, никто. И вообще г. Роман Якобсон напрасно беспокоится: относительно всемірной литературы он,

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru  
конечно, слегка зарапортовался, рядом со «Словом о Полку Игореве» творенія  
Маяковского навряд будут в ней, но в будущей, свободной исторії русской  
литературы Маяковскій будет, без сомненія, помянут достойно.

### ГЕГЕЛЬ, ФРАК, МЕТЕЛЬ

Революціонные времена не милостивы: тут бывают и плакать не велят, – плачущий считается преступником, «врагом народа», в лучшем случае – пошлым мещанином, обывателем. В Одессе, до второго захвата ея большевиками, я однажды рассказывал публично о том, что творил русский «революционный народ» уже весною 1917 года и особенно в уездных городах и в деревнях, – я в ту пору приехал в именіе моей двоюродной сестры в Орловской губернії, – рассказал, между прочим, что в одном господском имені под Ельцом мужики, грабившие это іменіе, ощипали до гола живых павлинов и пустили их, окровавленных, метаться, тыкаться куда попало с отчаянными воплями, и получил за этот рассказ жестокий нагоняй от одного из главных сотрудников одесской газеты «Рабочее Слово», Павла Юшкевича, напечатавшаго в ней в назиданіе мне такія строки:

«К революції, уважаемый академик Бунин, нельзя подходить с мерилом и пониманіем уголовного хроника, оплакивать ваших павлинов – мещанство, обывательщина, Гегель не даром учил о разумности всего действительного!»

Я ответил ему в одесской добровольческой газете, которую редактировал тогда, что ведь и чума, и холера, и еврейские погромы могут быть оправданы, если уж так свято верить Гегелю, в что мне все-таки жаль елецких павлинов: ведь они и не подозревали, что на свете существовал Гегель, и никак поэтому не могли им утешиться...

Все это я не раз вспоминал в Константинополе, когда, бежав из Одессы от большевиков, второй раз уже прочно овладевших ю, мы стали наконец (в начале февраля 1920 года) эмигрантами и чувствовали себя в некотором роде тоже весьма ощипанными павлинами. Я часто бывал в Константинополе в прежніе, мирные годы. Теперь, словно нарочно, попал в него в тринадцатый раз, и это роковое число вполне оправдало себя: в полную противоположность с прошлым, все было крайне горестно теперь в Константинополе. Прежде я всегда видел его во всей красоте его весенних дней, веселым, шумным, приветливым; теперь он казался нищим, был сумрачен, грязен то от дождя, то от таявшего снега, мокрый, резкий ветер валил с ног на его набережных и на мосту в Стамбул, турки были молчаливы, подавлены оккупацией союзников, их презрительной властью над ними, грустны и ласковы только с нами, русскими беженцами, еще более безправными, чем они, а несчастными уже до последняго предела, во всех смыслах. Меня то и дело охватывало в те константинопольские дни чувство радостной благодарности Богу за тот душевный отдых, что наконец послал Он мне от всего пережитаго в Россії за три последних года. Но материальное положеніе наше не внушало радости: и мне и Н. П. Кондакову, с которым мы покинули Одессу и были неразлучны и в Константинополе, надо было искать прочного прибежища и средств к существованію в какой-нибудь славянской стране, – в Софії, в Белграде, в Праге, – где эмигрантам было легче всего как-нибудь устроиться. И вот, дождавшись наконец виз и первого поезда, – они были тогда еще очень редки после всех тех разрушений, что произвела четырехлетняя война и в Европе, и на Балканах, – мы уехали из Константинополя в Софію. Я имел официальное поручение устно осведомить нашего посла в Белграде о положеній наших дел и на фронте и в тылу одесской области, должен был поэтому посетить и Белград, – это давало мне к тому же надежду как нибудь устроиться там, – но по пути в Белград мы с женой прожили почти три недели в Софії. И то, что мы не погибли там, как не погибли в Черном море, было тоже чудом.

Болгарія была оккупирована тогда французами и потому русских беженцев, прибывавших туда, устраивали по квартирам французы. В Софії многих из них они поселили в одном из больших отелей, поселил там и нас с Кондаковым, и началось с того, что мы оказались среди множества тифозных больных; заразиться от которых ничего не стоило. А кончилось – для меня – вот чем. За несколько дней до нашего отъезда, из Софії я был, в числе некоторых прочих, приглашен в гости, на вечернюю пирушку к одному видному болгарскому поэту, содержавшему трактир, и, там просидел почти до разсвета, – ни хозяин, ни военный болгарский министр, бывший в числе приглашенных, ни за что не отпускали меня домой, министр даже кричал на меня в избытке дружеских чувств:

– Арестую, если вздумаете уходить!

Так і вернулся я домой, – только на разсвете и не совсем трезвый, – а вернувшись, тотчас заснул мертвым сном и только часов в одиннадцать дня вскочил с постели, с ужасом вспомнив, что приглашен на какую-то политическую лекцію Рысса, человека очень обидчиваго, и что лекція эта должна была начаться в девять утра, – в Софії публичныя лекціи, доклады часто бывали по утрам. Желая поделиться с женой своим горем, я перебежал из своего номера в ея, как раз напротив моего, минут через десять вернулся в свой – и едва устоял на ногах: чемодан, в котором хранилось все наше достояніе, был раскрыт и ограблен до тла, – на полу было разбросано только то, что не имело никакой ценности, – так что мы оказались уже вполне нищими, в положеніи совершенно отчаянном. Замки чемодана были редкіе, подобрать к ним ключи было невозможно, но я, проснувшись, сам отпер чемодан, чтобы взять из него золотой Хронометр, посмотреть, который час, – я благоразумно не взял его вчера с собой, зная, что мне придется возвращаться с вечера у поэта поздно, по темной и пустынной Софії, – и, посмотрев, бросил чемодан не запертым, а, хронометр положил на ночной столик у постели, с котораго, разумеется, исчез и он, однако, судьба оказалась ко мне удивительно великодушна: взяла с меня большую взятку, но зато спасла меня от верной смерти, – почти тотчас же после того, как я обнаружил свою полную нищету, кто-то, уж не помню, кто именно, принес нам страшную весть о том, что случилось там, где должен был читать Рысс: меньше, чем за минуту перед его появлением на эстраде, под ней взорвалась какая-то «адская машина», и несколько человек, сидевших в первом ряду перед эстрадой, – в котором, вероятно, сидел бы и я, – было убито наповал.

Кто обокрал нас, было вполне ясно не только нам, но и вся кому из наших сожителей по отелю: коридорным в отеле был русскій, «большевичек», как все его звали, желтоволосый малый в грязной косоворотке и поганом сюртучишке, горничной – его возлюбленная, молчаливая девка, похожая на саму дешевую проститутку в одесском порту, «личность мистеріозная», как назвал ее болгарскій сыщик, посланный арестовать и ее, и коридорного болгарской полиціей, но французы тотчас вмешались в дело и приказали его прекратить: нижній этаж отеля; занимали зуавы, среди которых мог оказаться вор. И вот болгарское правительство предложило мне бесплатный проезд до Белграда в отдельном вагоне третьего класса, наиболее безопасном от тифозных вшей, и небольшую сумму болгарских денег на пропитаніе до Белграда. А в Белграде, где нам пришлось жить в этом вагоне возле вокзала на запасных путях, – так был переполнен в ту пору Белград, – я не только никак не устроился, но истратил на пропитаніе даже и то, что подарило мне болгарское правительство. Сербы помогали нам, русским беженцам, только тем, что меняли те «колокольчики» (деникинские тысячерублевки), какія еще были; у некоторых из нас, на девятьсот динар каждый, меняя однако только один «колокольчик». Делом этим ведал князь Григорій Трубецкой, засідавшій в нашем посольстве. И вот я пошел к нему и попросил его сделать для меня некоторое исключеніе, разменять не один «колокольчик», а два или три, – сославшись на то, что был обокраден в Софії. Он посмотрел на меня и сказал:

– Мне о вас уже докладывали, когда вы пришли. Вы академик?

– Так точно, – ответил я.

– А из какой именно вы академі?

Это было уже издевательство. Я ответил, сдерживая себя сколько мог:

– Я не верю, князь, что вы никогда ничего не слыхали обо мне.

Он покраснел и резко «отчеканил»:

– Все же никакого исключенія я для вас не сделаю. Имею честь кланяться.

Я взял девятьсот динар, забывши от волненія, что мог получить еще девятьсот на жену, и вышел из посольства совершенно вне себя. Как быть, что делать? Возвращаться в Софію, в этот мерзкій и страшный отель? Я тупо постоял на тротуаре и уже хотел брести в свой вагон на запасных путях, как вдруг открылось окно в нижнем этаже посольского дома и наш консул окликнул меня:

– Господин Бунін, ко мне только что пришла телеграмма из Парижа от госпожи Цетлинай, касающаяся вас: виза в Париж и тысяча французских франков.

В Париже, в первые годы двадцатых годов, мы получали иногда письма из Москвы всякими правдами, неправдами, чаще всего письма моего племянника (умершаго лет пятнадцать тому назад), сына той твоюродной сестры моей, о которой я уже упоминал; и в имении которой, в селе Васильевском, я подолгу живал многие годы – вплоть до нашего бегства оттуда в Елец и дальше, в Москву, на рассвете 23 октября 1917 года, вполне разумно опасаясь быть ни за что убитыми тамошними мужиками, которые неминуемо должны были быть пьяными поголовно 22 октября, по случаю Казанской, их престольного праздника.. Вот в хронологическом порядке некоторые выдержки, из этих писем, в своем роде довольно замечательных:

- Лысею. Ведь от холода почти четыре года не снимаю шапки, даже сплю в ней.
- Та знаменитая артистка, о которой я тебе писал, умерла. Умирая, лежала в почерневшей от грязи рубашке, страшная, как скелет, стрижена клоками, вшивая, окруженная докторами с горящими лучинами в руках.
- Был у старухи княжны Белозерской. Сидит в лохмотьях, голодная, в ужасном холоде, курит махорку.
- Я задыхался от бронхита, с великим трудом добыв у знакомаго аптекаря какой-то мази для втиранія в грудь. Раз вышел в нужник, а сосед старичок, следившій за мной, вбежал ко мне и стал пожирать эту мазь; входу, а он, весь трясясь, выгребает ее пальцами из баночки и жрет.
- На днях один из жильцов нашего дома пошел к своему соседу узнать, который час. Постучавшись, отворил к нему дверь и встретился с ним лицом к лицу, – тот стоял в дверях. «Скажите, пожалуйста, который час?» Молчит, только как-то странно ухмыляется. Спросил опять – опять молчит. Хлопнул дверью и ушел. Что же оказалось.? Сосед стоял, чуть касаясь ногами пола, в петле: вбил железный костыль в притолоку, захлестнул бичевку... Прибежали прочие жильцы, сняли его, положили на пол. В окаменевшей руке была зажата записка: «Царствію Ленина не будет конца».
- Из нашей деревни некоторые переселяются в Москву. Пріехала Наталья Пальчикова со всеми своими ведрами, ушатами. Пріехала «совсем»: в деревне, говорит, жить никак нельзя и больше всего от молодых ребят: «настоящіе разбойники, живорезы». Пріехала Машка,
- помнишь девку из двора Федьки Рыжаго? У нас объявлен к выходу самоедскій словарь, скоро будут выходить «Татарскіе классики», но железнодорожное сообщеніе адское. Машка на пересадке в Туле неподвижно просидела в ожиданії московскаго поезда на вокзале целых трое суток. Пріехала Зинка, дочь Васильевскаго кузнеца ехала тоже безконечно долго, в страшно тесной толпе мужиков. Сидя и не вставая, стерегла свою корзину, перевязанную веревками, на которой сидел ея мальчик, идёт с головой вроде тыквы. В Москве повела его в Художественный театр – смотреть «Синюю птицу»...
- Один наш знакомый, очень известный ученый, потерял недавно рубль и, говорит, не спал всю ночь от горя. Жена его осталась в деревне. Ей дали угол в прихожей за шкапами в их бывшем доме, давно захваченном и населенном мужиками и бабами. На полу грязь, стены ободраны, измазаны клопиной кровью... Каково доживать жизнь, сидя за шкапами!
- Во дворе у нас, в полуподвалной дворницкой, живет какой-то краснолицый старик с серой кудрявой головой, пьяница. Откуда-то оказался у него совсем новый раззолоченный придворный мундир, большой, длинный. Он долго таскал его по двору, по снегу, ходил по квартирам, хотел продать за выпивку, но никто не покупал. Наконец пріехал в Москву из деревни его знакомый мужик и купил: «Ничего! – сказал он. – Этот мундир свои деньги оправдает! В нем пахать, например, самое разлюбезное дело: его ни один дождь не пробьет. Опять же тепел, весь в застежках. Ему сносу не будет!»
- Стали появляться в Москве и другіе наши земляки. На днях явился наш бывшій садовник: пріехал, говорит, «повидаться (с своим барином», то есть со мной. Я его даже не узнал сразу: за то время, что мы не виделись, рыжій сорокалетній мужик, умный, бодрый, опрятный, превратился в дряхлаго старика с бледной от седины бородой, с желтым и опухшим от голода лицом. Все плакал, жаловался на

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru свою тяжкую жизнь, просил устроить его где-нибудь на место, совершенно не понимая, кто я такой теперь. Я собрал ему (по знакомым кое-какого тряпья, дал на обратную дорогу несколько рублей. Он, дрожа, пихал это тряпье в свой нищенский мешок, со слезами бормотал: «Теперь я и доеду и хлебушка куплю!» Под вечер ушел с этим мешком на вокзал, на прощанье поймал и несколько раз поцеловал мне руку холодными, мокрыми губами и усами.

– Я был на одном собраніи молодых московских писателей. В комнате холод, освещеніе как на глухом полустанке, все курят и лихо харкают на пол. О вас, о писателях змигрантах, отзывались так: «Гнилые европейцы! Живые мертвѣцы!»

– Писатель Малашкин, шестипалый, мещанин из ефремовского уезда. Говорит: «Я новый роман кончил. Двадцать восемь листов. Написано стихійно, темпераментно!»

– Писатель Романов – мещанин из Белевского уезда. Желтоволосый, с остренькой бородкой. Пальто «клош», черные лайковые перчатки, застегнутыя на все пуговицы, лакированная трость, «артистически» изломанная шляпа. Самомненіе адское, замыслы грандиозные: Пишу трилогію «Русь», листов сто будет!» К Европе относится презрительно: «Не поеду, скучно там...» Писатель Леонов, гостивший у Горькаго за границей, тоже скучал, все говорил: «Гармонь бы мне...»

– Помнишь Варю Б.? Она живет теперь в Васильевском, «квартирует» в избе Красовых, метет и убирает церковь, тем и зарабатывает кусок хлеба. Одевается как баба, носит лапти. Мужики говорят: «Прибилась к церкви. Кто ж ее теперь замуж возьмет? Ведь какая барышня прежде была, а теперь драная, одни зубы. Стара, как смерть».

В деревне за городом Ефремовым Тульской губернії, в мужицкой полуразрушенной избе, доживал в это время свои последние дни мой старший брат Евгений Алексеевич Бунин. Когда-то у него было небольшое имение, которое он после мужицких бунтов в 1905 г. вынужден был продать и купить в Ефремове небольшую усадьбу, дом и сад. И вот стали доходить ко мне в Париж сведенія и о нем:

– Ты, вероятно, не знаешь, что Евгения Алексеевича выгнали из его дома в Ефремове, теперь он живет в деревне под городом, в мужицкой избе с провалившейся крышей. Зимой изба тонет в сугробах, в щели гнилых стен несет в метель снегом... Живет тем что пишет портреты. Недавно написал за пуд гнилой муки портрет Васьки Жохова, бывшаго звонаря и бояска. Васька заставил изобразить себя в цилиндре и во фраке, – фрак и цилиндр достались ему при грабеже именія ваших родственников Трухачевских, – и в плисовых шароварах. По плечам, по фраку военные ремни с кольцами...

Прочитав это, я опять невольно вспомнил поэта Блока, его чрезвычайно поэтическія строки относительно какой-то мистической метели:

«Едва моя невеста стала моей женой, как лиловые міры первой революціи захватили нас и вовлекли в водоворот. Я, первый, так давно хотевшій гибели, вовлекся в серый пурпур серебряной Звезды, в перламутр и аметист метели. За миновавшей метелью открылась железная пустота дня, грозившая новой выногой. Теперь опять налетевшій шквал – цвета и запаха определить не могу».

Этот шквал и был февральской революціей и тут для него определились наконец цвет и запах «шквала».

Тут он написал однажды стишки о фраке:

Древній образ в черной раке,  
Перед ней подлец во фраке,  
В лентах, в звездах, в орденах...  
Когда «шквал» пришел, фрак достался Ваське Жохову, изображеному моим братом не только во фраке, но и в военных ремнях с кольцами: лент, звезд, орденов Васька тогда еще не имел. Перечитывая письмо племянника, хорошо представляя себе эту сгнившую, с провалившейся крышей избу, в которой жил Евгений Алексеевич, в щели которой несло в метель снегом, вспомнил я и перламутр и аметист столь великолепной в своей поэтичности блоковской «метели». За гораздо более простую ефремовскую метель и за портреты Васек Жоховых Евгений Алексеевич поплатился жизнью: пошел однажды зачем-то, – верно, за гнилой мукой какого-нибудь другого Васьки, – в город, в Ефремов, упал по дороге и отдал душу Богу. А другой мой

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru

старший брат, Юлій Алексеевич, умер в Москве: нищій, изголодавшійся, едва живой телесно и душевно от «цвета и запаха нового шквала», помещен был в какую-то богадельню «для престарелых интеллигентных тружеников», прилег однажды вздрогнуть на свою койку и больше уже не встал. А наша сестра Марья Алексеевна умерла при большевиках от нищеты и чахотки в Ростове, на Дону...

Приходили ко мне сведенія и о Васильевском:

– Я недавно был в Васильевском. Был в доме, где ты когда-то жил и писал: дом, конечно, населен, как и всюду, мужицкими семьями, жизнь в нем теперь вполне дикарская, первобытная, грязь, не хуже чем на скотном дворе. Во всех комнатах на полу гниющая солома, на которой спят, попоны, сальные подушки, горшки, корыта, сор и мирріады блох... А затем пришло уже такое сообщение:

– Васильевское и все соседнія усадьбы исчезли с лица земли. В Васильевском нет уже ни дома, ни сада, ни одной липы главной аллеи, ни столетних берез на валах, ни твоего любимаго старого клена...

«Вронскій действует быстро, натиском, заманивает девиц, втирается в знакомство к Каренину, нагло преследует его жену и, наконец, достигает своей цели. Анна, которую автор с таким блеском выводит на сцену, – как она умеет одеваться, как страстно увлекается «изяществом» Вронского, как нагло и мило обманывает мужа. – Анна падает как весьма ординарная, пошлая женщина, без надобности, утешая себя тем, что теперь оба довольны – и муж, и любовник, ибо обоим она служит своим телом, «изящным, культурным» телом... Граф Толстой обольстительно рисует пошловатый мір Вронского и Анны... А ведь, граф Толстой даровитый писатель...»

Что это такое? Это пример того, до чего договариваются некоторые в предреволюціонные и революціонные времена. В шестидесятых годах да и в семидесятых не один болван, ненавидевшій «фрак», тоже договаривался до чудовищных нелепостей. Но был ли болваном тот, чьи строки я только что привел? Строки, которые мог написать лишь самый отчаянный болван, негодяй и лжец, которого мало было повесить на первой осине даже за одне только каверзные кавычки в этих строках?

Это писал совсем не болван, это писал Алексей Сергеевич Суворин, ставшій впоследствії столь известным, писал в семидесятых годах. Ведь даже злейшие враги считали его впоследствії большим умом, большим талантом. А Чехов писал ему о его литературном вкусе даже восторженно:

«У вас вкус литературный – превосходный, я верю ему как тому, что в небесах есть солнце».

#### НОБЕЛЕВСКІЕ ДНИ

9 ноября 1933 года, старый добрый Прованс, старый добрый Грасс, где я почти безвыездно провел целых десять лет жизни, тихій, теплый, серенький день поздней осени...

Такіе дни никогда не располагают меня к работе. Все же, как всегда, я с утра за письменным столом. Сажусь за него и после завтрака. Но, поглядев в окно и видя, что собирается дождь, чувствую: нет, не могу. Нынче в синема дневное представление – пойду в синема.

Спускаясь с горы, на которой стоит «Бельведер», в город, гляжу на далекія Канны, на чуть видное в такие дни море, на туманные хребты Эстереля и ловлю себя на мысли:

– Может быть, как раз сейчас, где-то там, на другом краю Европы, решается и моя судьба...

В синема я однако опять забываю о Стокгольме.

Когда, после антракта, начинается какая-то веселая глупость под названием «Бэби», смотрю на экран с особенным интересом: играет хорошенькая Киса Куприна, дочь Александра Ивановича. Но вот в темноте возле меня какой-то осторожный шум, потом свет ручного фонарика и кто-то трогает меня за плечо и торжественно

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru  
взволнованно говорит вполголоса:

– Телефон из Стокгольма...

И сразу обрывается вся моя прежняя жизнь. Домой я иду довольно быстро, но не испытывая ничего, кроме сожаленія, что не удалось досмотреть, как будет играть Киса дальше, и какого-то безразличного недоверія к тому, что мне сообщили. Но нет, не верить нельзя: издали видно, что мой всегда тихій и полутемный в эту пору дом, затерянный среди пустынных оливковых садов, покрывающих горные скаты над Грассом, ярко освещен сверху донизу. И сердце у меня сжимается какою-то грустью... Какой-то перелом в моей жизни...

Весь вечер «Бельведер» полон звоном телефона, из котораго что-то отдаленно кричат мне какие-то разноязычные люди чуть не из всех столиц Европы, оглашается звонками почтальонов, приносящих все новыя и новыя приветственные телеграммы чуть не из всех стран міра, – отовсюду, кроме Россії! – и выдерживает первые натиски посетителей всякаго рода, фотографов и журналистов... Посетители, число которых все возрастает, так что лица их все больше сливаются передо мною, со всех сторон жмут мне руки, волнуясь и поспешно говоря одно и то же, фотографы ослепляют меня магніем, чтобы потом разнести по всему свету изображеніе какого-то бледнаго безумца, журналисты наперебой засыпают меня допросами...

- Как давно вы из Россії?
- Эмигрант с начала двадцатаго года.
- Думаете ли вы теперь туда возвратиться?
- Бог мой, почему же я теперь могу туда возвратиться?
- Правда ли, что вы первый русскій писатель, которому присуждена Нобелевская премія за все время ея существованія?
- Правда.
- Правда ли, что ее когда-то предлагали Льву Толстому и что он от нея отказался?
- Неправда. Премія никогда никому не предлагается, все дело присужденія ея проходит всегда в глубочайшей тайне.
- Имели ли вы связи и знакомства в Шведской Академіи?
- Никогда и никаких.
- За какое именно ваше произведение присуждена вам премія?
- Думаю, что за совокупность всех моих произведеній.
- Вы ожидали, что вам ее присудят?
- Я знал, что я давно в числе кандидатов, что моя кандидатура не раз выставлялась, читал многіе лестные отзывы о моих произведениях таких известных скандинавских критиков, как Вк, Osterling, Agrell, и, слыша об их причастности к Шведской Академіи, полагал, что они тоже расположены в мою пользу. Но, конечно, ни в чем не был уверен.
- Когда обычно происходит раздача Нобелевских премій?
- Ежегодно в одно и то же время: десятаго декабря.
- Так что вы поедете в Стокгольм именно к этому сроку?
- Даже может быть, раньше: хочется поскорее испытать удовольствіе дальней дороги. Ведь по своей эмигрантской безправности, по той трудности, с которой нам эмигрантам, приходится добывать визы, я уже тринадцать лет никуда не выезжал за границу, лишь один раз ездил в Англію. Это для меня, без конца ездившаго когда-то по всему міру, было одно из самых больших лишеній.

– Вы уже бывали в скандинавских странах?

– Нет, никогда. Совершал, повторяю, многия и далекія путешествія, но все к востоку и к югу, север же все оставлял на будущее время...

Так неожиданно понесло меня тем стремительным потоком, который превратился вскоре даже в некоторое подобіє сумасшедшаго существованія: ни единой свободной и спокойной минуты с утра до вечера. Наряду со всем тем обычным, что ежегодно происходит вокруг каждого Нобелевского лауреата, со мной, в силу необычности моего положення, то есть, моей принадлежности к той странной Россії, которая сейчас разсеяна по всему свету, происходило нечто такое, чего никогда не испытывал ни один лауреат в міре: решение Стокгольма стало для всей этой Россії, столь униженной и оскорблennой во всех своих чувствах, событием истинно національним...

В ночь с третьего на четвертое декабря я уже далеко от Парижа. Норд-экспресс, отдельное купé первого класса – сколько уже лет не испытывал я чувств, связанных со всем этим! далеко за полночь, мы уже в Германії. Все стою на площадке вагона, который идет в поезде последним и, вырываясь из под вагона, несется назад в бледном лунном свете нечто напоминающее Россію: плоскія равнины, траурно-пестрыя от снега, какія-то оснеженные деревья...

Утром Ганновер. Открываю глаза, поднимаю штору – окно во льду, замерзло. Лед и на рельсах. На людях, проходящих по платформе, меховые шапки, шубы – как давно не видал я всего этого и как, оказывается, живо хранил в сердце!

Вечером наш поезд ставят на пароход «Густав V» и медленно направляют к берегам Швеції. Снова интервью, снова вспышки магнія... В Швеції мой вагон буквально осаждается толпой фотографов и журналистов... И только поздней ночью остаюсь я наконец опять один. За окнами чернота и белизна – сплошные черные леса в белых глубоких снегах. И все это, вместе с жарким теплом купе, совсем как ночи когда-то на Николаевской дороге...

Раздача премій лауреатам ежегодно происходит всегда десятого декабря и начинается ровно в пять часов вечера.

В этот день стук в дверь моей спальни раздается рано, с вечера было приказано разбудить меня не позднее восьми с половиной. Вскакиваю и тотчас же вспоминаю, что за день нынче: день самый главный. На часах всего восемь, северное утро едва, брезжит, еще горят фонари на набережной канала, видной из моих окон, и та часть Стокгольма, что над нею, передо много, со всеми своими башнями, церквями и дворцами, тоже имеющая что-то очень схожее с Петербургом, еще так сказочно-красива, как бывает она только на закате и на разсвете. Но я должен начать день нынче рано: десятое декабря – дата смерти Альфреда Нобеля, и потому я с утра должен быть в цилиндре и ехать за город, на кладбище, где надо возложить венки и на его могилу и на могилу недавно умершаго племянника его, Эммануила Нобеля. Я опять вчера лег в три часа ночи и теперь, одеваясь, чувствую себя очень зыбко. Но кофе горячо и крепко, день наступает ясный, морозный, мысль о необычайной церемоніи, которая ждет меня нынче вечером, возвуждает...

Официальное приглашеніе на торжество разсылается лауреатам за несколько дней до него. Оно составлено (на французском языке) в полном соответствіи с той точностью, которой отличаются все шведские ритуалы;

– Гг. лауреаты приглашаются прибыть в Концертный Зал для полученія Нобелевских премій 10 декабря 1933 г., не позднее 4 ч. 50 м дня. Его Величество, в сопровождении Королевского Дома и всего двора, пожалует в Зал, дабы присутствовать на торжестве и лично вручить каждому из них надлежащую премію, ровно в 5 ч., после чего двери Зала будут закрыты и начнется само торжество.

Ни опоздать хотя бы на одну минуту, ни прибыть хотя бы на две минуты раньше назначенного срока на какое-нибудь шведское приглашеніе совершенно недопустимо. Поэтому одеваться я начинаю чуть ли не с трех часов дня – из страха, как бы чего не случилось: а вдруг куда-нибудь исчезнет запонка фрачной рубашки, как любят это делать в подобных случаях все запонки в міре?

В половине пятаго мы едем.

Город в этот вечер особенно блещет огнями, – и в честь лауреатов, и в ознаменование близости Рождества и Нового Года. К громадному «Музыкальному Дому», где всегда происходит торжество раздачи премий, течет столь густой и бесконечный поток автомобилей, что наш шоффер, молодой гигант в мохнатой меховой шапке, с великим трудом пробирается в нем: нас спасает только то, что полиция, при виде кортежа лауреатов, которые всегда идут в таких случаях друг за другом, задерживает все прочие автомобили.

Мы, лауреаты, входим в «Музыкальный Дом», со всей прочей толпою, но в вестибюле нас тотчас от толпы отделяют и ведут куда-то по особым ходам, так что то, что происходит в парадном зале до нашего появления на эстраде, я знаю только с чужих слов.

Зал этот удивителен своей высотой, простором. Теперь он весь декорирован цветами и переполнен народом: сотни вечерних дамских нарядов в жемчугах и бриллиантах, сотни фраков, звезд, орденов, разноцветных лент и всех прочих торжественных отличий. В пять без десяти минут весь кабинет шведских министров, дипломатический корпус, Шведская Академия, члены Нобелевского Комитета и вся эта толпа приглашенных уже на местах и хранят глубокое молчание. Ровно в пять герольды с эстрады возвещают фанфарами появление Монарха. Фанфары уступают место прекрасным звукам национального гимна, льющимся откуда-то сверху, и Монарх входит в сопровождении наследного принца и всех прочих членов королевского дома. За ним следуют свита и двор. Мы, четыре лауреата, находимся в это время все еще в той маленькой зале, что примыкает к заднему входу на эстраду. Но вот и наш выход. С эстрады снова раздаются фанфары, и мы следуем за теми из шведских академиков, которые будут представлять нас и читать о нас рефераты. Я, которому назначено говорить свою речь на банкете после раздачи премий первым, теперь выхожу, по ритуалу, на эстраду последним. Меня выводят Пер Гальстрем, непременный секретарь Академии. Выйдя, я поражаюсь нарядностью, многолюдством зала и тем, что при появлении с поклоном входящих лауреатов, встает не только весь зал, но и сам Монарх со всем своим двором и домом. Эстрада тоже громадна. Она украшена какими-то мелкими розовыми, живыми цветами. Правую сторону ее занимают кресла академиков. Четыре кресла первого ряда налево предназначены для лауреатов. Надо всем этим торжественно-неподвижно свисают со стен полотнища шведского национального флага: обычно украшают эстраду флаги всех тех стран, к которым принадлежат лауреаты; но какой флаг имею я лично, эмигрант? Невозможность вывесить для меня флаг советской заставила устроителей торжества ограничиться ради меня одним, – шведским. Благородная мысль!

Открывает торжество председатель Нобелевского фонда. Он приветствует короля и лауреатов и предоставляет слово докладчику. Тот целиком посвящает это первое слово памяти Альфреда Нобеля, – в этом году столетие со дня его рождения. Затем идут доклады, посвященные характеристике каждого из лауреатов, и после каждого доклада лауреат приглашается докладчиком спуститься с эстрады и принять из рук короля папку с Нобелевским дипломом и футляр с большой золотой медалью, на одной стороне которой выбито изображение Альфреда Нобеля, а с другой имя лауреата. В антрактах играют Бетховена и Грига.

Григ один из наиболее любимых мною композиторов, я с особым наслаждением услыхал его звуки перед докладом обо мне Пер Гальстрема.

Последняя минута меня взволновала. Речь Гальстрема была не только прекрасна, но истинно сердечна. Кончив, он с малой церемонностью обратился ко мне по французски:

– Иван Алексеевич Бунин, благоволите сойти в зал и принять из рук Его Величества литературную Нобелевскую премию 1933 года, присужденную вам Шведской Академией.

В наступившем вслед за тем глубоком молчании я медленно прошел по эстраде и медленно сошел по ее ступеням к Королю, вставшему мне на встречу. Поднялся в это время и весь зал, затаив дыхание, чтобы слышать, что Он мне скажет и что я Ему отвечу. Он приветствовал меня и в моем лице всю русскую литературу с особенно милостивым и крепким рукопожатием. Низко склонясь перед Ним, я ответил по французски:

– Государь, я прошу Ваше Величество соблаговолить принять выражение моей

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru  
глубокой и почтительной благодарности.

Слова мои потонули в рукоплесканнях. Король чествует лауреатов обедом в своем дворце на другой день после торжества раздача премій. Вечером же десятаго декабря, почти тотчас по окончанії этого торжества, их везут на банкет, который им дает Нобелевскій Комитет.

На банкете председательствует кронпринц. Когда мы приезжаем, там уже опять в сборе все члены Академії, весь Королевскій Дом и двор, дипломатический корпус, художественный мір Стокгольма и прочие приглашенные.

К столу идут в первой паре кронпринц и моя жена, которая сидит потом рядом с ним в центре стола.

Мое место рядом с принцессой Ингрид, – ныне она датская королева, – напротив брата короля, принца Евгения (кстати сказать, известного шведского художника).

Кронпринц открывает застольные речи. Он говорит блестящее, посвящая слово памяти Альфреда Нобеля.

Затем наступает черед говорить лауреатам.

Принц говорит со своего места. Мы же с особой трибуны, которая устроена в глубине банкетной залы, тоже необыкновенно огромной, построенной в старинном шведском стиле.

Радіопріємник разносит наши слова с этой эстрады по всей Европе..

Вот точный текст той речи, которую произнес я по французски:

– Ваше Высочество, Милостивыя Государыни, Милостивые Государи.

9 ноября, в далекой дали, в старинном провансальском городе, в бедном деревенском доме, телефон известил меня о решенії Шведской Академії. Я был бы неискренен, ежели бы сказал, как говорят в подобных случаях, что это было наиболее сильное впечатление во всей моей жизни. Справедливо сказал великий философ, что чувства радости, даже самая резкая, почти ничего не значат по сравнению с таковыми же чувствами печали. Ничуть не желая омрачать этот праздник, о коем я навсегда сохранию неизгладимое воспоминаніе, я все-таки позволю себе сказать, что скорби, испытанные мною за последние пятнадцать лет далеко превышали моя радости. И не личными были эти скорби, – совсем нет! Однако, твердо могу сказать я и то, что из всех радостей моей писательской жизни это маленько чудо современной техники, этот звонок телефона из Стокгольма в Грасс, дал мне, как писателю, наиболее полное удовлетворение. Литературная премія, учрежденная вашим великим соотечественником Альфредом Нобелем, есть высшее увечение писательского труда! Честолюбие свойственно почти каждому человеку и каждому автору, и я был крайне горд получить эту награду со стороны судей столь компетентных и беспристрастных. Но думал ли я 9 ноября только о себе самом? Нет, это было бы слишком эгоистично. Горячо пережив волнение от потока первых поздравлений и телеграмм, я в тишине и одиночестве ночи думал о глубоком значении поступка Шведской Академії. Впервые со времени учрежденія Нобелевской преміи вы присудили ее изгнанику. Ибо кто же я? Изгнаник, пользующийся гостепримством Франції, по отношению к которой я тоже навсегда сохранию признательность. Господа члены Академії, позвольте мне, оставив в стороне меня лично и мои произведения, сказать вам, сколь прекрасен ваш жест сам по себе. В мире должны существовать области полнейшей независимости. вне сомнения, вокруг этого стола находятся представители всяческих мнений, всяческих философских и религиозных верований. Но есть нечто незыблемое, всех нас объединяющее: свобода мысли и совести, то, чему мы обязаны цивилизацией. Для писателя эта свобода необходима особенно, – она для него догмат, аксиома. Ваш же жест, господа члены Академії, еще раз доказал, что любовь к свободе есть настоящій национальный культ Швеції.

– И еще несколько слов – для окончанія этой небольшой речи. Я не с нынешняго дня высоко ценю ваш Королевскій Дом, вашу страну, ваш народ, вашу литературу. Любовь к искусствам и к литературе всегда была традиціей для шведского Королевского Дома, равно как и для всей благородной націи вашей. Основанная славным воином, шведская династія есть одна из самых славных в міре. Его Величество Король, Король-Рыцарь народа-рыцаря, да соизволит разрешить чужеземному, свободному

Воспоминанія. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru  
писателю, удостоенному вниманіем Шведской Академіи, выразить Ему свои  
почтительнейшія и сердечнейшія чувства.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://buninivan.ru/> Приятного чтения!  
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,  
недвижимость. Здоровый образ жизни.  
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет  
магазин обуви Интернет магазин  
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных  
сайтов. Интеграция, Хостинг.  
<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография  
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>  
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!